#### Зеркало[[1]](#footnote-1)

#### Ирина Владимировна Одоевцева

Резкое столкновение сна и реальности, толчок — и сна уже нет. Сквозь полоски в ставнях, как хлопья снега, падает густой, белый свет. Еще очень рано. Надо уснуть. Но сна больше нет. Она выспала его всего до последней капли. И хотя сна больше нет, она еще не позволяет себе вступить в действительность. Она закрывает глаза, стараясь ни о чем не думать. Успеется, успеется. Торопиться некуда. Она лежит между сном и действительностью, в паузе, в недоумении, в ничегонеожидании. Ей кажется, что она тихо качается в гамаке, одинаково близкая, одинаково далекая от сна и действительности, от жизни и смерти, прислушиваясь к себе, не понимая себя, в таинственном недоразумении будничного утра. Она слышит, как дождь тихо стучит в окно, как муж тихо дышит рядом с ней. Дождь, как дыхание, дыхание, как дождь — ритмично и скучно.

И вдруг она, еще ничего не вспомнив ясно, скорее от предчувствия, чем от воспоминания, шарит рукой под подушкой, и пальцы ее натыкаются на твердый, колючий угол визитной карточки. И сразу исчезает граница между вчера и сегодня. Вчера не кончилось, оно снова тут, его снова надо пережить. Оно такое невероятное, такое непохожее на обыкновенные «вчера». Оно не желает влезать в память, укладываться в ящик прошлого аккуратно сложенным воспоминанием. Оно, как гора, загромождает, давит сегодняшнее утро, оно продолжает жить, несмотря на то что время его давно истекло.

Это вчера началось, как все другие, — одиночество и пустота. И неумение, незнание, чем занять себя. На службе ее муж получил два приглашения на кинематографический фестиваль: «Люка, какая удача». Да, он и не знал, не догадывался, какая это была удача. «Весь Париж, даже президент. Оденься получше». Дома платье казалось очень красивым, и волосы улеглись в такие легкие локоны. Конечно, вечерних туфель не было, были коричневые, почти новые. Она любовалась собой, она радовалась, как она радовалась. Но там, не успев даже снять пальто, она поняла. Радость сменили стыд и обида. Да, она сразу поняла, что она жалка, что она смешна, что она не имеет ничего общего с этими нарядными, счастливыми женщинами. Они кутались в парчовые или меховые накидки, их ноги в золотых сандалиях прятались под длинными платьями, волосы на их счастливых головах лежали победоносно, как ореол, как корона. Нет, с воробьями, с камнями мостовой, с оленями у Люки было больше общего, чем с этими женщинами. Зачем она пришла сюда? И все-таки она не ушла, она осталась, она до конца испытала унижение и зависть. За себя, за своего ничего не понимавшего мужа, за его старомодный, дешевый смокинг. Вдвоем с ним они были не только провинциалами, затерявшимися в элегантной толпе, они в этой толпе были единственным оазисом бедности.

На экране разыгрывалась фантастическая счастливая судьба героини, и даже на ней нельзя было остановиться, утешиться. Нельзя было подумать: «Вот и ей тоже плохо, ей даже хуже, чем мне сейчас».

Потом началась пытка музыкой. Она не слушала, она старалась не слышать, и все-таки страстный, лукавый, сладостный итальянский голос безжалостно входил в ее сердце и болью разливался по всему телу, сверля кости как ревматизм, как старость.

Пытка музыкой. Сладостный, лукавый, соблазнительный голос. Соблазн жизни. Но ведь у нее, Люки, нет жизни. Разве можно назвать жизнью то, чем она (день да ночь — сутки прочь) приближается к смерти? Это только «не умирание». А жизнь — это блестящая судьба, блестящая борьба, это взлеты и падения, любовь, слава и в конце блестящая гибель.

Лукавый, страстный, соблазнительный голос доказывает, показывает, заставляет Люку понять то, о чем она даже и не догадывалась.

Вот он легко поднимается все выше, все слаще, вот на минуту задерживается на высоком ля. Сейчас он полетит еще выше, еще есть надежда на спасение, все еще может устроиться. Но голос, будто поколебавшись немного, поддается благоразумному зову рояля и кубарем летит вниз. И за ним падает последняя надежда и разбивается у ног Люки в грохоте аккордов. Еще четыре такта, и неудавшаяся судьба с грубой жестокостью встает перед Люкой. Без подготовки, без жалостливой осторожности, сразу, как в развернутой газете объявление в траурной рамке о смерти друга. Без подготовки, не час за часом, когда неудача расцветает, как цветок — сначала завязь, мягкие, шелковые листья, влажный зеленоватый бутон, — медленно, осторожно, очень осторожно, очень медленно. Накопление примет, страхов, сомнений. Времени достаточно, времени даже слишком много, чтобы, привыкнуть, усвоить, сжиться со своей неудачной судьбой, чтобы, когда она вдруг распустится во всем непоправимом, окончательном великолепии, не испугаться, не возмутиться, покорно принять каждый ее лепесток.

Но Люке это открылось сразу, с жестокостью, с откровенностью, с грубостью, на которую способна только музыка. Нет, она не знала, что она несчастна. Она засыпала и просыпалась улыбаясь. «Мой муж, мой дом, мой обед...» Эти слова вдруг превратились в сплошную дыру, из них вывалилось драгоценное самодовольство судьбой. И тогда стало совсем невтерпеж от боли, стыда и зависти, тогда захотелось крикнуть: «Довольно, больше не могу». Она, задушив в себе крик, проглотив его, перевела дыхание, и боль, которой не удалось вырваться криком, слезой покатилась по щеке. Одна капля горя. На одну каплю горя стало меньше. Она закрыла глаза, опустила голову, сложила руки на коленях. Стало спокойнее, стало терпимее. Не слушать, знать, что все, что происходит здесь, совсем не касается ее. Она сама по себе и вне всего этого. Она глубоко ушла в кресло, но, едва она устроилась, приспособилась, уже надо уходить. Встать во весь рост — короткое платье, замшевые туфли — беззащитно встать под насмешливые взгляды, пройти, как сквозь строй, сквозь толпу.

— Что же ты не идешь, Люка? Придется час ждать пальто... Я побегу вперед.

Она чувствовала, как провинциально закручиваются ее локоны, как оскорбительно топорщится накрахмаленное платье, как жалко блестят чулки. У выхода из зала она подняла голову и увидела себя, свое грустное молодое лицо. Она удивилась. Она чувствовала себя такой старой, жалкой, смешной, и лицо ее должно было быть сейчас старым, опущенным, жалким... Но так еще хуже, еще обиднее. Она отвернулась, чтобы не видеть себя, она спряталась за колонну.

Нет, этого нельзя было вынести. Она спряталась за колонну, чтобы ее не было видно, чтобы по ней не бегали, как ящерицы, скользкие, презрительные, удивленные взгляды. Она прижалась к колонне. Жена Лота, соляной столб. Лучше стать соляным столбом, чем это унижение, эта боль. Скоро ли вернется Павлик? Скоро ли они уйдут отсюда? Она испуганно вздрагивает и испуганно оборачивается: холодный голос, как вода, льется на ее затылок, за вырез ее открытого платья.

Тьери Ривуар, знаменитый режиссер, о котором она читала в газетах. Он стоит перед ней. От его черных волос, от его белых зубов, от его светлых глаз исходит сияние. Он стоит перед ней в сиянии и славе. Так в сиянии и славе на землю спускается архангел, посланник неба. Она смотрит на него. Он стоит перед ней, нет, не он — они. Их двое, четверо, двенадцать, сто... Они двоятся, четверятся, отражаются в зеркальной стене. Целая толпа, целый сонм ангельских сил — в сиянии и славе. Голос растет, ширится, летит, это хор голосов.

— Приходите завтра в контору. В контору... — торжественно и гулко отдается под потолком. — Я буду вас ждать.

«Ждать» как удар грома.

Он протягивает ей руку, и весь сонм ангельских сил протягивает руки вместе с ним. В руке что-то блестит — молния или меч? Она готова принять и молнию, и удар меча. Но в его руке белая визитная карточка.

— Тут мой адрес. Вы придете?

Она кивает. Она говорит: «Да». Ей кажется, что она кричит, но звука не слышно, может быть она ничего не сказала. Но он понял. И тогда он — они, те, которые толпой стоят перед ней, те, которые толпой отражаются в зеркалах, — улыбаются. Так не улыбаются люди. Так сверкают люстры в Версальском дворце, так сияют тысячи свечей в соборе, так в черном небе разрывается фейерверк над ночными скачками в Лонгшане[[2]](#footnote-2), так северное сияние отражается в прозрачных льдах. И она зажмуривается от нестерпимого сияния.

— Я вас жду, — повторяет хор, и это звучит почти нежно и тихо. И вот его, их уже нет.

Никто не стоит перед ней, и зеркала пусты. Эхо еще повторяет: «Жду», и в воздухе еще дрожит сияние.

По опустевшему фойе идет муж. Он подает ей пальто.

Она смотрит на свое пальто — серое, старое, кусок ее старой, серой жизни. Неужели надо его надеть после того, что только что было, после того, что раскололо ее жизнь на две части.

— Что же ты не надеваешь пальто?

Она всовывает руки в рукава, застегивает пуговицы, прячет визитную карточку в карман. Она не расскажет мужу о встрече. Ей всегда казалось, что у нее не может быть от него тайн, что она ничего не сможет скрыть от него. Но это казалось, должно быть, оттого, что в ее старой, скучной, серой жизни скрывать было решительно нечего.

Она одевается. Кажется, она все-таки похожа на провинциалку. Но это не страшно теперь. Такой она понравилась Ривуару, может быть даже за это понравилась. На ней синий костюм, волосы причесаны, как вчера. Так хорошо. Теперь надо сесть в кресло и ждать. Такой красивой она еще никогда не была. Такой задумал ее Бог, но скука, грусть, бедность жизни мешали ей быть такой прежде. Сейчас, когда случилось чудо, она сама чудесно изменилась, как будто это не она, а мечта о ней. Она такая, как сама о себе мечтала.

Она смотрит на часы. Половина шестого. Надо ехать. Она спускается по лестнице, берет такси. Так просто — ни препятствий, ни грома, ни землетрясения.

Она смотрит на улицы, на дома, на людей, она старается все запомнить: это она видит в самый решительный, решающий час своей жизни, это надо запомнить навсегда. Все — как автобус заворачивает за угол, как дама в розовой шляпе покупает персики с лотка, как велосипедист чуть не наехал на собаку. Ей кажется, что люди и предметы, всё, на что она смотрит, вырезывается какими-то невидимыми острыми ножницами из общей картины и, пересыпанное солнечными искрами, как нафталином, укладывается навсегда в память, а на месте, где были эти люди и предметы, остается солнечное пятно.

Подъезд, серый ковер лестницы, стеклянно-металлический лифт с стеклянно-металлическим жужжанием отрывает ее от земли. На мгновение она теряет равновесие, волю, себя. Но лифт уже останавливается, и она открывает решетчатую дверь, похожую на дверь тюремной камеры, и входит через вторую стеклянную дверь в судьбу. Большая комната полна людей, голов, голосов и пишущих машинок. Этого она не ожидала. Страх кидается в ноги, она останавливается.

Она объясняет снисходительной дактило[[3]](#footnote-3), что Ривуар ждет ее. Она приготовила фразу уже в такси, но страх отнимает смысл у слов.

— Присядьте, — говорит дактило, будто предлагая ей устроиться на зимовку, — вам придется долго ждать, если monsieur Ривуар вообще сможет вас принять, — говорит она с таким выражением лица, будто уже принесла ответ: «К сожалению...» Она уже уверена, что именно это ей придется сейчас сказать. Дверь закрывается за ней. Люка старается не видеть все эти лица, стулья и руки. Страх, покатавшись шаром по всему телу, понемногу сосредоточился в коленях. Удастся ли встать? Дактило возвращается озадаченная и почтительная: «Monsieur Ривуар вас просит». Страх прыжком перескакивает в горло, идти можно, но удастся ли говорить?

Ривуар сам выходит к ней навстречу. Он стоит перед ней такой же, как вчера, — в сиянии и славе.

— Как я рад, что вы пришли.

Он улыбается. Она смотрит на него. Как он улыбается! Он пропускает ее перед собой. Она входит, стараясь найти определение для его улыбки, забыв о страхе, торчащем поперек горла, о важности этой минуты.

— Я был уверен, что вы придете.

— Электрическая улыбка, — говорит она, найдя определение.

— Что? — переспрашивает он, не поняв, и она, спохватившись, отвечает:

— Конечно, я не могла не придти.

Он предлагает ей папиросу. Нет, она не курит. Он закуривает сам. Он рассматривает ее внимательно сияющим взглядом, немного наклонив голову набок. Она сидит прямо, не шевелясь, ничем не защищенная, не уклоняясь, не прячась, стараясь как можно лучше дать ему рассмотреть, оценить себя. Вот я такая, вот я вся. Он кивает.

— Да, я не ошибся. Вы именно такая, как мне надо. У вас молодое, совсем новое, как из магазина, лицо... Еще не помятое, не запачканное жизнью и воспоминаниями. Такое именно, как мне надо. Но главное, как вы слушали пение. Я следил за вами. Вы слушали сердцем, и ваше лицо отражало музыку. Я никогда не видел, чтобы так слушали, так чувствовали музыку. И когда вы заплакали, я понял, что вы — та, которую я ищу.

Она краснеет.

— Я не плакала. Только одна слеза.

— Только одна слеза, — повторяет он и закуривает новую папиросу.

Она съеживается, горбится, ей хочется спрятаться от его взгляда. Значит, все это недоразумение, ошибка, обман. Он нашел не ту, которую искал. Она не понимает, не любит музыки, она не плакса, которую растрогаешь пением.

— Дар слез, — говорит он, — дар еще более ценный, чем дар смеха. Актриса — это обыкновенно кирпич, из которого не выжмешь слезы. У нее нет этого «дара слез» — она почти никогда не плачет.

Она молчит, она опускает голову. Ее новая судьба начинается с обмана.

— Я сделаю из вас знаменитость.

«Знаменитость» — как толчок в грудь. Ей никто не давал таких обещаний, она не привыкла к таким словам. А он уже говорит о роли, рассказывает содержание фильма. Он даже не спросил, согласна ли она.

— Вам придется только принести разрешение родителей.

— Я замужем, и мне двадцать один год, — объясняет она, гордясь замужеством и совершеннолетием.

— Жаль, — говорит он, и она не знает, жалеет ли он о том, что ей уже так много лет, или о том, что она уже замужем. Он продолжает:

— В пятницу с вас сделают пробные снимки. Вы торопитесь сейчас? Вас ждет муж?

Она встает, она протягивает ему руку. Должно быть, надо уходить. Она очень долго сидела здесь, очень долго задерживала его.

— Нет, мой муж уехал на два дня на завод.

Он пожимает ее руку.

— Ну вот мы и нашли друг друга. Сознайтесь, что и вы искали режиссера своей судьбы. Вы еще не догадываетесь, какая это будете удивительная судьба.

Она кивает:

— Я не искала, но я, конечно, очень рада, что я нашла вас. Куда мне прийти в пятницу?

Но он не отпускает ее. Раз никто не ждет ее, они могут пообедать вместе. Он сейчас кончит все свои дела. Она снова садится, она не спорит. Он кладет перед ней кинематографические журналы. Она остается одна. Она не читает журналов, она осматривает комнату. Пока он был здесь, ее внимание, ее зрение, ее слух были заняты только им, но теперь она одна, и предметы заявляют о себе. Их нельзя не видеть, они такие модные, красивые, так подчеркнуто дорого стоят все — и громадные кресла, крытые почти белой шелковистой кожей (очень марко, должно быть), и светлый персидский ковер, и на необъятном письменном столе фантастическая лампа с плоским стеклянным диском. Она протягивает руку, нажимает кнопку. Лампа зажигается желтоватым туманом. Конечно, от такой лампы и нельзя было ожидать, чтобы она светила как нормальная лампа. Она тушит ее, она смотрит на почти белые блестящие, голые стены. Очень успокоительны эти большие, пустые пространства — успокоительно, холодно и одиноко. В такой комнате, должно быть, легко думать и трудно жить. На круглом зеркальном столике в хрустальной вазе — букет роз, но воды в вазе нет. И книг тоже нет, ни одной книги. Она сидит здесь, она ждет Ривуара, она уже почти привыкла к чуду. Она готова принять без удивления все, что случится сегодня.

Ривуар возвращается: «Не очень долго?» Они выходят через контору, и все машинистки и служащие встают и говорят: «До свиданья». Это относится также и к ней. Пусть они не беспокоятся они снова скоро увидят ее, и не один еще раз. И она отвечает им: «До свиданья». Стеклянно-металлический лифт, уже старый добрый знакомый, мягко спускает их вниз. Перед домом стоит большой, черный, необычайный автомобиль, похожий сразу и на водолаза, и на акулу.

— Сначала покатаемся немного.

Они едут в Булонский лес. Октябрь, а почти жарко, только сейчас вечером она это замечает, целый день некогда было заметить. В Булонском лесу медленно движутся ряды автомобилей, деревья еще зелены и птицы поют. Сколько людей, сколько женщин, может быть такие же, те же, что вчера. Ей кажется, что она даже узнает их. Но она не присматривается — те же, такие же, не все ли ей равно? Мимо, мимо. По синему пруду плывет гордый белый лебедь, на зеленом берегу стоит гордая белая борзая. Лебедь похож на борзую, борзая на лебедя. Люка протягивает руку: «Посмотрите». Ривуар поворачивает голову к пруду. Он не замечает ни борзой, ни лебедя. «Вода, — говорит он. — Хорошо бы выкупаться. Вы умеете плавать?» — «Ну еще бы». Ни лебедя, ни борзой больше не видно. Они едут теперь по боковой аллее, пустой и тихой. Такой тихой, что слышно, как осторожно и взволнованно шумят деревья.

— Вам приятно? — спрашивает Ривуар.

— Очень, — отвечает она.

Но разве «приятно» — подходящее слово? Она счастлива. Нет, и «счастлива» еще слишком бледно, слишком слабо. Ей хочется петь, кричать, выпрыгнуть на всем ходу из автомобиля, удариться о твердую землю так, чтобы ничего от нее не осталось, рассыпаться, распылиться. Нет, чтобы и пыли не осталось. Ничего, только крик счастья. Но для кого тогда ее восхитительное будущее, ее победа, ее слава? Умирать не надо даже от счастья. Не только умирать, но и кричать не надо.

— Потрубите, пожалуйста, немножко, — просит она вдруг.

Он удивляется:

— Зачем?

Она не объясняет, и как объяснить? Но ведь победу всегда трубят, труба прославляет победу, извещает о ней.

— Пожалуйста, потрубите!

И он трубит. Густой трубный голос взволнованно повторяет: «Победа, победа». Деревья гнутся, будто кланяются.

— Я голоден, — говорит Ривуар. — И меня ждут в ресторане.

Мой компаньон и... — он на минуту останавливается, — одна артистка, Тереза Кассани, вы знаете ее?

— Я видела ее имя на афишах. Такими аршинными буквами.

— Через год, — говорит он совсем просто, — ваше имя тоже будут писать такими буквами, а через два года вы поедете в Холливуд. Можете мне верить.

Она ничего не отвечает, дорога перед глазами вдруг обрывается, превращается в море, и волны сейчас налетят на автомобиль. Она закрывает лицо руками.

— Зачем вы поспешили с замужеством? — доносится сквозь гул волн. — Как это глупо.

Она опускает руки. Дорога опять, как дорога, и деревья с обеих сторон.

— Скажите, вы любите мужа?

— Нет, совсем не люблю.

Это она отвечает «совсем не люблю» так спокойно и решительно, как будто она давно взвесила свои чувства к мужу, давно разобралась в них. «Не люблю» подкреплено еще и «совсем», чтобы не оставалось сомнения. Она так сразу, не задумываясь, отвечает, будто ответ был давно готов, давно лежал на дне сознания в окончательной редакции, точный, как формула, давно ждал вопроса, который позволит ему прозвучать. Вопроса, которого никто не задавал ей, которого она сама никогда не задавала себе. Неужели она действительно не любит мужа? Но ответ, так удививший ее, кажется вполне естественным Ривуару.

— Я так и думал. Все-таки муж — ненужный балласт.

Это о нем, о ее милом Павлике говорят так, и она не спорит, не возмущается. Она уже предает Павлика.

— Ривуар, это знаменитый Ривуар, — доносится женский шепот. Люка не поворачивает головы, она идет рядом с Ривуаром в своем синем костюме, в своем берете гордо и легко. — Смотри, знаменитый Ривуар.

Рядом с Ривуаром — это важнее, чем меха и бриллианты.

Метрдотель подводит их к столику, за которым сидит женщина в большой шляпе. У нее совсем черные глаза, белое лицо, очень красный рот. Где Люка видела ее? На кого она похожа? На кого? Ах, да: только что — лебедь, борзая... Она похожа сразу и на лебедя, и на борзую, ей надо было бы стоять там, на берегу, рядом с борзой и кормить хлебом лебедя своей гибкой, тонкой рукой, ее можно было бы снять так, с борзой и лебедем, как фамильную группу.

— Мы уже давно ждем, — говорит она равнодушно и нараспев.

Господин, сидящий возле нее, встает. Он лысый, и череп у него

гладкий и совсем не противный. Лицо еще молодое, с голубыми глазами. Он кланяется слишком низко, слишком вежливо и чопорно.

— Мой компаньон Герэн, — представляет его Ривуар.

Герэн касается груди быстрым жестом. Неизвестно, ощупывает ли он бумажник или проверяет, на месте ли сердце. Люка садится. Она не чувствует неловкости, будто каждый вечер обедает в таком ресторане. Но составить меню она не может — слишком трудно сейчас понять, какие это блюда и можно ли их есть. Ривуар помогает ей. Приносят раковый суп. «Вкусно», — одобряет Ривуар. Разве вкусно? Она глотает суп, не чувствуя вкуса, как во сне. И все-таки она ест, как все, она пьет вино.

— Я уезжаю завтра утром, — у Терезы Кассани низкий, глухой голос, отсутствующий, равнодушный взгляд, будто ей безразлично, что она говорит, будто она даже не слышит этого. — Мы видимся в последний раз.

Это относится к Ривуару, и он зажигается своей электрической улыбкой.

— Я приеду на вокзал.

Она качает головой.

— Не нужно жертв, и этого вечера довольно.

Она говорит о незнакомых людях, о незнакомых делах, она не обращает на Люку внимания. Но Ривуар смотрит только на Люку. Музыка нежно звенит, и музыка, которая вчера была пыткой, сегодня стала голосом ее победы. У Люки такое счастливое лицо, слишком неприлично-счастливое, она старается удержать губы, чтобы они не улыбались, она опускает веки. Она чувствует, что сейчас, если посмотреть в ее глаза, она видна вся насквозь, со всеми своими счастливыми мыслями. Такая открытая, незащищенная, до бесстыдства откровенная. Ей хотелось бы закрыть лицо. Она смотрит на Терезу Кассани. Если бы она могла сейчас чувствовать что-нибудь кроме счастья, она позавидовала бы ей. Какое спокойствие, какое безразличие. Она сама по себе, полна собой, своей красотой, и ничто ее не касается. Тереза Кассани поднимает стакан.

— Я пью за вашу будущую карьеру.

Значит, она все-таки обратила внимание на Люку. Она через стол наклоняется к Люке.

— Я должна была бы вас ненавидеть, — говорит она совсем тихо, — но я не желаю вам зла, — она улыбается своим слишком красным ртом. — Правда, я не желаю вам и добра. Удачная карьера — еще не добро. Вы потом сами убедитесь в этом.

Люка удивленно смотрит на нее. Эта красивая, знаменитая женщина может пожелать ей зла? Конечно, не в пожелании зла дело, сейчас всякое зло для нее, Люки, превратится в добро, но она, эта Тереза Кассани, значит, несчастна? Неужели можно быть несчастной сегодня?

— Зачем вы пришли сегодня, а не завтра? — голос Терезы Кассани по-прежнему равнодушен. За музыкой ни Ривуар, ни Герэн не могут ее услышать, и черные глаза смотрят безучастно на вазу с цветами. — Если бы вы пришли завтра, я не узнала бы, я могла быть спокойна три месяца в Вене. Он никогда не пишет, я ничего не узнала бы. Как он влюблен в вас.

Сердце Люки вдруг останавливается. Сердце и мысли. Она ничего не понимает. Минута паузы, перерыва, тишины, темноты.

— Вы смотрите на меня: такая старая — конечно, я кажусь вам старой, — а еще любит, еще влюблена. Но знайте, это все ничего не значит: ни длинная жизнь, ни блестящая судьба с поклонниками, успехами, деньгами. Этого всего просто нет. Когда любишь — всегда шестнадцать лет, всегда вся жизнь впереди, завтра впервые наденешь кисейное длинное платье, завтра будет первый бал. И ждешь, волнуешься, страшишься этого первого бала, этой жизни, которая начнется завтра. Но вы слишком молоды, вы не можете понять.

Нет, конечно, Люка не понимает. Ей хотелось бы пожалеть эту красивую, несчастную женщину, но для жалости нет места — она вся до последнего уголка переполнена счастьем — и она молчит. Она хотела бы попросить прощения за свое счастье, но как попросить и зачем?

Обед кончается. Едят фрукты. Кофе можно пить без конца. У директора ее мужа кофе пьют часами, и тут, наверно, так же. Но Ривуар вообще не пьет кофе, ему надоело сидеть, он хочет уйти отсюда.

— Вы торопитесь? — спрашивает Тереза Кассани.

— Нет, нисколько. Но здесь жарко, я устал за день.

Он вдруг как-то темнеет, оседает, будто в нем потушили его электрический свет. У него неподвижное безжизненное лицо — контакт между ним и жизнью вдруг прервался. Но он сейчас же снова улыбается своей электрической сияющей улыбкой. Люке только показалось, нет, у него не было, не могло быть этого темного, мертвого лица. Ей показалось.

Обед кончен, счет заплачен. Они идут все вместе к выходу.

— Ваш автомобиль здесь? — спрашивает Ривуар Терезу.

Она улыбается. Как может она улыбаться?

— Нет, я рассчитывала вернуться с вами. Но не беспокойтесь. Вы меня подвезете? — она поворачивается к Герэну, подчеркнуто грациозно кутаясь в мех. — Да? Ну тогда — доброй ночи вам обоим, — она протягивает Люке руку, и рука ее теплая и не дрожит.

Ривуар целует эту теплую, надушенную руку.

— Я приеду, если успею, завтра на вокзал, — обещает Ривуар.

Она улыбаясь, кивает.

— Но вы, конечно, не успеете.

Снова шуршанье шин и поклоны деревьев. У Ривуара веселое, злое лицо, он наслаждается свободой, прохладой.

— Было ужасно жарко. Как мы быстро удрали... Знаете, Тереза не будет спать всю ночь. Но женщины никогда не понимают, они навязчивы, они бестактны, они ревнивы. И почему они так легко, слишком легко влюбляются, а не умеют легко разлюбить? Каждая хочет быть единственной, с каждой — навеки.

Ривуару хочется поговорить о любви, о своих успехах и поклонницах. Сейчас Люка могла бы многое узнать — он еще ничего не скрывает от нее, он еще откровенен, они еще не съели вместе пуда соли, того пуда, после которого съевшие его вместе уже совсем не видят друг друга, совсем не слышат, совсем не понимают. Нет, сегодня только первый день, сегодня все видно, слышно, понятно. Видно на годы назад. Если позволить ему рассказать его прошлое, можно увидеть и всех женщин, которые любили его, которых он любил, услышать все нежные слова, сцены ревности, крики. И понять, как и за что он любил. И главное — узнать, может ли он любить ее, Люку? Да, ему хочется поговорить о любви. Он неосторожен, он, может быть, скоро пожалеет об этом. Лучше этот разговор отложить на завтра, на послезавтра, на потом, на после конца. Потому что конец, какой-нибудь конец наступит же в их отношениях. Ему хочется поговорить о себе, о любви. Этот разговор, как клубок шерсти, катается в воздухе, разматывая длинную нить. Конец нити вьется перед Люкой, его легко схватить, легко прикрепить каким-нибудь «Вы ее любили?», «Как долго это продолжалось?», закрутить за самый банальный вопрос, и весь клубок, который только этого и ждет, размотается быстро и мягко. Но ей рано знать все это, ей сейчас хочется говорить и слушать не о нем, а о себе, не о прошлом, а о будущем, она не ловит хвостика клубка, и клубок, покатавшись между ней и Ривуаром, выкатывается в окно. Случай навсегда потерян: то, что она могла узнать сейчас о нежности и жестокости Ривуара, она не узнает никогда.

Вы действительно уверены, что я стану знаменитостью?

Кроме любви существуют и другие темы, менее, конечно, подходящие для ночи и поездки вдвоем, но о кинематографе, о своей работе он может говорить всегда. Она расспрашивает его о «звездах», которых он вывел в «звезды»: кто они были, как он открыл их? На «открывание звезд» у него особенный нюх, особый талант. Он видит в людях самую сущность, солнечное сплетение, нервный центр. Так было и с ней. Он понял ее оттого, что она плакала, слушая пение. Если бы не эта слеза, он не был бы уверен в ее таланте, в ее карьере. Люка морщится, она хочет забыть об этом. Эта слеза — единственное маленькое пятнышко на ее чистом новом счастье.

Через год вы будете знаменитой — одной моей фильмы хватит, чтобы вас рвали на куски. Все ведь знают, что у меня острый глаз и удачная рука. Те, кто начинал со мной, взбирались на лестницу славы. Все.

Люка слушает. Только бы он говорил еще, еще, о славе, о карьере... Они едут теперь по версальской дороге, Люка поднимает голову и видит над собой два черных дерева, растущих на насыпи, под которой проходит дорога. Как тихо, как грустно они стоят, совсем как деревья на могиле. Но они уже проехали, и теперь над головой только небо и звезды.

— Я хочу пить, — говорит Ривуар, — а вы?

— Я тоже.

Ведь он ждет от нее, чтобы ей хотелось пить. Они въезжают в какие-то ворота, выходят из автомобиля.

— Вы уже бывали здесь? — спрашивает он, и она кивает.

Зачем ему знать, что она нигде не бывала? Они спускаются в сад, они садятся в низкие складные кресла. Внизу блестит вода, темнеют цветы, и большие, бархатные крылья мельницы неподвижно приклеились к звездному, лакированному небу.

— Хотите шампанского?

Она опять кивает, но, конечно, она не хочет шампанского, она вообще ничего не хочет, кроме того, что уже есть. И все-таки, несмотря на то что она ничего не хочет, впервые за свою жизнь и, Может быть, именно из-за этого с каждым часом становится все лучше. Может быть, и от шампанского еще увеличится счастье? Она пьет шампанское. Вкуса по-прежнему нет, но пузырьки газа щекочут нёбо.

— Как вы забавно морщите нос. Когда вы будете крутить[[4]](#footnote-4), не забудьте так морщить нос, если придется пить шампанское.

Да, от шампанского становится еще лучше. От шампанского все удваивается: с ней рядом сидит не один, а два Ривуара, и мельниц две, и счастья два и два сияющих будущих. Но объяснить это трудно, она даже не пытается, она смотрит на свое удвоившееся богатство со смутной надеждой. Может быть, оно еще и утроится? Он наливает ей еще стакан. Он не знает, что она пила шампанское, и то не больше стакана, только на Новый год, он не замечает, что она пьяна. Нет, она не пьяна и Ривуар один, он наклоняется близко, обнимает ее очень неудобно и тесно. Ей кажется, что ей на голову надели черный мешок, что ее тащат за ноги куда-то вниз, должно быть топить, но страха нет и счастье тоже не пугается, оно здесь. Люка шумно переводит дыхание, она смотрит в светлые, сияющие глаза Ривуара.

— Совсем маленькая, — говорит он, — даже целоваться еще не умеет.

— Я не маленькая, — она немного обижена, — я не хочу, чтобы меня топили, — объясняет она.

Он не спорит, он принимает ее объяснение. Лакей приносит еще бутылку, и надо снова пить, и опять ей надевают на голову черный мешок, но ее не топят. Никто не собирается ее топить.

— А теперь поедем ко мне, — говорит Ривуар.

— Теперь? Ночью?

Она качает головой. Она не все понимает, но она знает, что ехать не надо.

— Нет. Я хочу домой.

И он не спорит, он соглашается.

— Хорошо, тогда следующий раз. Решено, следующий раз.

Она тоже не спорит. Он помогает ей взобраться наверх, в гору, к автомобилю, в гору, будто к славе. Он помогает ей сейчас, он поможет ей потом. Она сидит в автомобиле, холодный ночной ветер дует ей в лицо. Нет, она не пьяна, она все видит, все понимает: и свое счастье, и дорогу домой. Послезавтра, в пятницу, она придет к нему утром, он повезет ее в студию сниматься. Она совсем не пьяна, она все помнит. Автомобиль останавливается. Она приехала.

— Вы живете тут, в этом доме?

Она смотрит на дом, будто не узнает его.

— Да, тут.

Он помогает ей выйти.

— Спите спокойно.

Он целует ее в губы. Да, это он целует ее, и никакого мешка не надевают. Это только казалось, и все-таки в ногах судорога, будто ее схватили за ноги и тащат. Он стоит перед ней без шляпы.

— Не забудьте.

Нет, она ничего не забудет. Он нажимает кнопку, и дверь открывается, она входит в дом. Хорошо, что «дома» во втором этаже, а не выше. Она держится за перила, она с трудом поднимает ноги. Как она устала. Ей хочется сесть на ступеньки, отдохнуть немного, но нельзя, и она открывает сумку, она вынимает ключ. Ключ сразу попадает в замочную скважину, и она дома. Она зажигает свет и осматривается. Неужели это она жила здесь два года, в этой тесноте, в этой обиде? С этими дешевыми пестрыми обоями, с этой безобразной вешалкой? Она снимает пиджачок, сбрасывает туфли на пол и на носках бежит в спальню. Усталость? Усталости больше нет, она сбросила ее вместе с беретом, с туфлями. Ей весело, ей хочется танцевать. В спальне почти светло. Должно быть, очень поздно. Нет, очень рано. Она подходит к окну, смотрит на бледное небо, на дома, на пустую улицу. Это Париж, в котором для нее не нашлось другого места, чем эта дыра, это Париж, который скоро будет поклоняться ей. Она стоит, прижавшись лбом к холодному стеклу, и вдруг, оторвавшись от стекла, начинает кружиться по комнате. Вместе с ней кружатся цветы на обоях, стулья, кровать, окно и белое небо в окне. Все быстрей и быстрей. Голова кружится, она падает на кровать, и усталость, брошенная на полу прихожей, подползает и мягким пушистым комком, как кошка, прыгает ей на грудь.

— Ах, я устала, устала, устала. Ах, я счастлива, счастлива, счастлива, — громко вздыхает Люка.

Она лежит закрыв глаза. «Ах, я устала, устала, устала, ах, я счастлива, счастлива, счастлива» еще звенит в воздухе, звенит над ней, будто слова материализовались, будто они состоят не из звуков, а из твердых, светящихся букв и, как светящаяся вывеска, висят над ее головой. «Ах, я счастлива, счастлива». И вдруг она вспоминает: такое же открытое окно, и рассветное небо, и девочка в широком сестрином платье, кружащаяся по комнате в шуршании белого шелка. «Ах, я счастлива, счастлива, счастлива, я устала, устала, устала». Это она, это Люка. Это последняя ночь в жизни ее сестры Веры. Люка открывает глаза, светящихся букв уже нет и воспоминаний тоже. Только усталость и желание спать. Она снимает платье, стягивает чулки. «Спать, спать».

Следующий день, четверг, проходит в ожидании того, чтобы он, этот четверг, прошел. Такой длинный четверг, как антракт в театре, как пересадка на незнакомой станции. Что делать? Как убить время? Люка лежит на диване. Как медленно идет время, как быстро стучит сердце. Быстро и громко, будто Люка запыхалась от бега, но ведь она не двигалась, она неподвижно лежит. Сердце стучит как мотор, стучит впустую, на холостом ходу, расходует жизнь. Она прижимает руку к холодноватой груди, к горячему лбу. Она прислушивается, ей кажется, что под ее гладкой кожей с журчанием переливается кровь. Так, совсем так она слушала журчание своей крови, стук своего сердца, когда ей было пятнадцать лет. Так, с такой же надеждой и счастливой тревогой. Совсем так она лежала на спине, чувствуя свои счастливые руки, свою счастливую грудь, свои счастливые колени в ту ночь, о которой она вспоминала вчера. Эта ночь была последняя счастливая ночь перед долгим, черным, горьким горем. Потом, за все долгие годы, она ни разу не чувствовала этого легкого трепета, этого веселого волнения, этой влюбленности в жизнь и в себя. Даже в день свадьбы была нежность, благодарность за защиту, за то, что ее избавили от страха жизни, за то, что можно уже не чувствовать себя лисицей, перебегающей пустое поле, где за каждым кустом — волк, под каждым деревом — охотник. Она вышла замуж, она уже не лисица, она — жена, бояться нечего. Она за крепкой стеной, отделяющей ее от страха жизни и от самой жизни. Стало уютно, веселее не стало. Зато спокойно, тихо, как вне жизни, как после жизни. Ни надежд, ни воспоминаний. Ни вчера, ни завтра — сегодняшний день. Милый, сытый, мелко-благополучный сегодняшний день. С ним, с мужем, с милым Павликом, таким нежным, таким заботливым, таким непонимающим. А прежнее — влюбленность и веселое ожидание, желания, наполнявшие ее веселое, нетерпеливое пятнадцатилетнее тело, ее пятнадцатилетнюю душу, были глубоко, тяжело подавлены, загнаны, изгнаны. Да, ей казалось, что их больше нет, что они умерли. Столько лет прошло, и они ни разу не высунули мордочек из норок — мы здесь, мы только прячемся, мы живы. Нет, она была уверена, что от них ничего не осталось, даже пыли в памяти, даже складочки в душе. И вдруг сегодня, после стольких дней, после стольких ночей, проснуться прежней ждущей, нетерпеливой

Люкой. И чувствовать, как освобожденные, проснувшиеся после черной спячки прежние полудетские желания начинают весело копошиться, устраиваться наново в ее душе, в ее сознании, в ее теле. Устраиваться, справлять новоселье.

Пятница. Люка всегда любила пятницу. Самый удачный день, хотя никаких особых удач в ее жизни не было. Любила, верила в кредит. Сегодня как раз пятница. И эта сегодняшняя пятница должна оправдать веру во все пятницы. Самый удачный день. Да, удача началась с утра. Пробные съемки удались прекрасно. Ривуар очень доволен. И голос понравился, это очень важно, — ей по роли придется петь. Ривуар в студии — новый Ривуар, не тот, который обедал с ней. Совсем особенный, деятельный, точный, какой-то механически-абстрактный. Глядя на него, она почему-то вспоминает движение блестящих никелированных рычагов на заводе мужа. И власть. Он весь движение и власть. Власть над всеми, над всем, что составляет его студию, его фильм. И над ней, Люкой. Ведь она с ее жизнью тоже с этой пятницы входит в его студию, в его фильм.

Она возвращается в его автомобиле. Он говорит на прощанье своим холодным, как морская вода, голосом.

— В восемь я буду у вашего подъезда. Вы обедаете со мной.

Она дома. Она стоит перед зеркалом, внимательно, с удивлением, разглядывая себя. Так вот как выглядит будущая «звезда»? Совсем не похожа — не так она представляла себе «звезду». Она смеется, кивает себе в зеркале. Но ты не беспокойся, Ривуар лучше знает. Это даже хорошо, что она «непохожа», не из серии, а кошка, которая ходит сама по себе. А если бы она сама пожелала стать статисткой, она сносила бы пару туфель, пока наконец приняли, а может быть вовсе не приняли бы. Значит, нечего гордиться. Но гордость, радость, счастье все-таки душат, мешают дышать, рвутся наружу. Как Павлик обрадуется. Она впервые за сегодня вспомнила о муже. Мысль немного задерживается на нем, вырастает, крепнет, разветвляется. Разветвление — как хорошо, что Павлик приедет завтра, и маленький отросток на разветвлении — как хорошо, что завтра, а не сегодня... Она идет в ванную. Надо взять ванну, чтобы не быть усталой. Она открывает кран. Пар, как туман, поднимается от горячей воды. Шампанское. Два Ривуара, две мельницы, туман в глазах, туман в ушах и, сквозь туман: «Вы не хотите поехать ко мне? Хорошо, тогда в следующий раз». Она слушала, она молчала, она не спорила, она согласилась. Как она могла забыть? Она закрывает горячую воду, кладет руку под холодную струю. Холодную, как голос Ривуара: «Значит, следующий раз...» И вдруг понимает всеми чувствами — кожей, волосами, кровью, что она не забыла, все время помнила, только не позволяла себе сознаться, что она все время ждала. И то полудетское, старое, забытое, то, что вчера снова проснулось в ней, не только влюбленность в себя, в жизнь, что это влюбленность в Ривуара. Да, прежде всего в Ривуара.

Она садится в ванну. Теплая вода успокоительно смыкается вокруг ее шеи. Не надо волноваться, не надо думать. Все восхитительно, все чудесно. Она счастлива.

В восемь часов по самым точным, выверенным часам она спускается вниз. Она открывает дверь. Страх — а вдруг его нет, а вдруг он забыл, а вдруг не приедет— не успевает коснуться ее. Длинный, похожий сразу и на водолаза, и на акулу автомобиль, проскользнув плавным полукругом, останавливается перед ней. Минута в минуту. Люка садится в автомобиль рядом с Ривуаром.

— Счастливы? — спрашивает он и улыбается своей электрической улыбкой. Своей невероятной улыбкой, на которую неловко ответить обыкновенной, человеческой, бледной улыбкой, — такая она сияющая, ослепительная, столько за ней скрыто богатства, власти, славы... Но она так счастлива, что все-таки улыбается ему.

— Да, счастлива, счастлива, счастлива, — трижды, как заклинание, повторяет она.

Чтобы убедить в этом судьбу, чтобы не дать судьбе забыть, что и дальше она, Люка, должна быть счастлива.

— Надо отпраздновать такое торжество, ведь вы на экране еще прелестнее, трогательнее, чем я думал, и у вас отличный голос. Но куда мы поедем?

Она не знает, ей все равно. Раз торжество, так всюду хорошо.

— Хотите, поедем в неизвестном направлении, куда попало?

Она хочет, она все хочет. И они едут.

Холодно. После теплой недели опять вернулся холод. Люка старается плотнее запахнуть свой пиджачок. Ривуар насмешливо прищуривает глаз:

— Мерзнете?

Она качает головой:

— Совсем нет. Немножко свежо, и это приятно.

Он настаивает:

— Сознайтесь, что мерзнете.

Но она ни за что не сознается, она боится испортить эту поездку в неизвестность. И в холоде нет ничего неприятного — из-за него еще острее чувствуешь себя, и жизнь, и счастье. Все как-то проясняется, напрягается, концентрируется.

— Мне очень хорошо, — говорит она, — и это правда.

— Так вы еще и упрямы.

Он останавливает автомобиль, он берет свое верблюжье пальто, укутывает ее.

— Я взял пальто для вас, чтобы вы не простудились. Мне теперь ваше здоровье дороже своего.

Она удивленно смотрит на него, и он насмешливо объясняет:

— Вы крутите с понедельника.

Неожиданная заботливость, пушистое пальто, такое уютное и ласковое, и тепло, от которого размягчается, тает воля, превращаясь в мягкую благодарность, в покорность.

— Спасибо, — тихо говорит она, так тихо, что ему за шумом мотора вряд ли слышно. Ей хочется положить руку на его рукав, ей хочется прижаться щекой к этой синей, жесткой материи. Но она не смеет. От пальто идет легкий, горьковатый запах табака. Она не курит, ей противно все, что связано с куреньем — пепел, окурки, запах табака. Противно до тошноты. Но сейчас она с блаженством вдыхает табак.

Автомобиль скользит по черной блестящей дороге, стволы деревьев по сторонам выкрашены белой краской. Трава удивительно зеленая, такой зеленой она всегда представляла себе Ирландию.

Ривуар рассказывает содержание фильма, ее роль. Очень много горя и слез. Она умирает, она на небе и опять спускается на землю.

— Вы не будете бояться умереть?

Она смеется.

— Если вы дадите мне еще немножко пожить, покрутить до этого.

— Да, со смертью можно не торопиться. Раньше скрутите свою жизнь и в раю побегайте по облакам. Потому что вам придется быть ангелом. Это очень дикий, совсем небывалый фильм. Он может только или с треском провалиться, или стать эпохой. Среднего для него нет. Если он провалится, то я с ним. Я ставлю его на свои деньги пополам с компаньоном Герэном.

Он говорит быстро, с увлечением. Как просто, как откровенно рассказывает он ей свои дела. Будто другу.

— Теперь, с тех пор как я нашел вас, я не сомневаюсь в успехе. Мне нужны были именно вы. В вас есть что-то трогательное, какое-то «без слез смотреть невозможно», хрупкость, «ветер подует — сломается». Только вас мне не хватало. А теперь, когда я вас нашел, я совсем спокоен — я нашел вас...

Он смотрит прямо перед собой, он прибавляет скорости. Стрелка показываете 100,110. Ветер шумит в ушах.

— Вы не боитесь? — спрашиваете Ривуар.

Это относится к быстроте, но это может также относиться к ее роли в фильме, к ее роли в жизни.

— Нет, — почти кричит она, стараясь перекричать ветер. Она не боится, она ничего не боится — с ним.

Они молчат; ветер, быстрота, шум в ушах заменяют разговор. Им надо уже сказать друг другу слишком много, им еще нечего сказать друг другу.

Он уменьшает быстроту.

— Пора, — говорит он.

Она еще не знает, что «пора», но согласна с ним.

— Да, пора. Вы тоже голодны? — спрашивает он.

Она совсем не ожидала, что это «пора» можете относиться к обеду.

— Очень голодна, конечно, — отвечает она.

Они добрались до цели — приехали. Они въезжают в какой-то маленький город, останавливаются перед широким подъездом.

— Тут нас отлично накормят, — говорит он весело.

— Мы ведь ехали в неизвестность, откуда вы знаете, как здесь кормят?

Он открывает дверку, помогает ей выйти.

— Самая лучшая неизвестность та, которая заранее срежиссирована. Доверяться случаю легкомысленно... — и он почему-то низко и почтительно кланяется Люке.

Да, эта неизвестность безусловно срежиссирована. Их ждут. На столе — букет роз, лакеи суетятся. Они сидят в глубине большой комнаты, и перед ними — широкий, кирпичный, пылающий камин. Ривуар протягивает к нему руку.

«Вот что значит режиссура. Вот что значит счастье», — эхом отдается в ее голове. Да, все это: и стол с букетом роз, и камин, и коктейль, который она пьет, — все это счастье. Это счастье, но оно такое нетерпеливое, острое, колкое, как шило, как еж. Она все натыкается на него, и ей больно, оно колет ее, и кровь течет. Ей хочется кричать от боли, от счастья. И все так вкусно. У еды совсем особенный, веселый вкус — впервые за три дня она чувствует вкус, и ей хочется есть. За все три дня сразу. «Омар по-американски» — вот как называется это вкусное, что она ест. Правильнее по-американски, как говорит Бриан[[5]](#footnote-5), не Бриа Саварен[[6]](#footnote-6), а Бриан, тот знаменитый министр иностранных дел, который, если бы жил... — нет, это слишком сложно для нее. Она хочет еще вина. Так. И еще кусочек этого омара. Но больше счастья она не хочет. Счастья и так слишком много.

За окнами темнеет. В окне деревья становятся прозрачнее и легче, тают, засыпают в сумраке. Лакеи приносят, как на сцене, канделябры с зажженными свечами, ставят канделябры на стол, закрывают на высоких окнах красные шелковые шторы. До свиданья, деревья.

— Неужели это все для нас? Только для нас весь ресторан?

Ривуар кивает.

— Ну конечно, все это для нас. Этот зал, и все лакеи, и камин, и дом, выстроенный в восемнадцатом веке. Только для нас специально, чтобы мы сегодня в нем пообедали. Вот что значит хорошая режиссура.

— Так вы волшебник?

— Ну конечно. Иначе разве вы были бы здесь, со мной?

Она кивает, она сама это отлично знает, и незачем об этом говорить. Но как красивы свечи, и розы, и камин, как вкусно, как весело.

— Я сделаю вас знаменитой, — говорит он серьезно. — Когда вы станете знаменитостью, вы не смеете забыть, что этим вы обязаны мне. Обещаете?

Она растерянно моргает. Что она должна обещать? Она не понимает, но она, конечно, обещает ему все, все, что он хочет.

— Да, да, — она протягивает ему руку. — Никогда, навсегда.

Это ничего не значит, и все-таки это сейчас самые нужные слова. Он так и воспринимает их. Он улыбается своей электрической, невозможной, небывалой улыбкой. Сияние его улыбки и тишина. Сияние.

— Знаете, я в детстве читала такую английскую сказку про улыбающегося кота[[7]](#footnote-7). Он улыбался и весь сиял. Его видно не было за сиянием. Он удирал, и его уже не было, а сияние все еще оставалось. Вот как вы улыбаетесь, — она очень довольна, что наконец нашла сравнение, определение для его улыбки. — Да, да... — она задумывается. — Нет, кот вам не подходит. Вы скорее волк, улыбающийся волк — вот вы кто.

— Улыбающийся волк? — он снова смеется, и она смеется с ним.

— А это что? — спрашивает она неуверенно, тыкая вилкой в тарелку. — Как называется?

— Но ведь это спаржа, разве вы не узнаете?

— Ах, да, конечно, это спаржа, я вижу. Но я не думала, что могу найти здесь что-нибудь знакомое...

«А кофе тоже будет? И с ликерами? Или он опять не захочет?» Нет, он, кажется, сегодня все хочет так же, как она. Как жарко от камина, как странно от свеч, как непонятно от вина, как чудно от жизни.

Лакей пускает радио, и Люка понимает, что музыка была совершенно необходима, что ее только и не хватало. Теперь все хорошо, теперь желаний нет никаких, даже неосознанных, подсознательных. Дверь в глубине зала отворяется, входит повар, весь в белом, с высоким белым колпаком на голове. В руке он держит блестящую черную палочку. Он подходит к ним удивительно легкими, танцующими шагами, толстый, розовый, улыбающийся, он кланяется им, как придворные в балете кланяются королям.

— Довольны ли вы обедом?

— Очень, чрезвычайно довольны.

— Тогда позвольте мне, — он поднимает черную палочку, это волшебная палочка, он сейчас превратит их в верблюдов или мышей. Но это не волшебная палочка — это флейта, и повар подносит ее к губам. Он играет на флейте. Он играет нежно и наивно, он кружится по блестящему паркету. Пламя камина освещает его накрахмаленный колпак, его надутые розовые щеки, его веселые глаза. Белые завязки передника развеваются на его спине, из-под широких белых штанов выглядывают маленькие, удивительно легкие ноги в черных туфлях. Люка долго смотрит на него: неужели все это на самом деле или только так, только кажется?

Этот танцующий повар с флейтой, и камин, и цветы на столе. Так прелестно и так волшебно. Она поднимает голову.

— Вы знаете, — говорит она, — мне почему-то кажется, что сейчас зима и мы в горах.

Он кивает, он совсем не удивлен.

— Ну конечно, зима, разве вы забыли? Вы не видите — сосны в снегу. Нет, не поднимайте занавеску — очень дует. Тут в горах так холодно, ведь мы в Шамони[[8]](#footnote-8), завтра мы будем бегать на лыжах.

Она смеется, ей хочется положить голову на стол, рядом с бутылкой ликера под пение флейты. Но Ривуар встает.

— Давайте потанцуем.

И они танцуют. Вернее, нет, не Люка танцует, танцуют ее ноги, вдруг ставшие самостоятельными, танцует Ривуар, танцует повар. Ривуар крепко держит ее за талию. Она смеется. Это слишком волшебно, слишком прелестно, этого не может быть, это только кажется.

— Я устала, — говорит она.

Это не относится к танцу, это относится к счастью, она хотела бы минуту не чувствовать его, чтобы оно не жгло, не кололо, не разрывало ее, чтобы можно было совсем обыкновенно подышать и позевать. Ривуар не понимает, он останавливается, хотя ее ноги еще продолжают танцевать, еще хотят танцевать.

— Вы устали, — говорит Ривуар, — вам надо отдохнуть. Пойдемте.

Он берет ее под руку, он ведет ее к выходу. Она идет за ним, ей жаль уходить отсюда. Ей не хочется выходить на холод, ехать. Но они не выходят из дома, они идут наверх по широкой, обитой красным ковром лестнице. Наверх, куда? Может быть, это только кажется, что они поднимаются; может быть, они спускаются? Все может быть. Она пьяна, она не понимает. Лакей распахивает перед ними дверь. Они входят.

В большом зеркале отражается широкая кровать, люстра под потолком. Лакей закрывает дверь. Они одни. Она смотрит в зеркало, она видит свое отражение, отражение Ривуара, и кровати, и люстры. Она видит, как отражение Ривуара наклоняется к ней, поднимает ее, кладет в отражение постели. Видит, но ничего не чувствует. Она лежит на кровати. Она больше не видит своего отражения в зеркале, только люстра еще отражается. Но ее, Люки, уже не видно — ее больше нет в зеркале. Она закрывает глаза, чтобы спрятаться в темноту. Но темнота приходит в движение, кружится, кружится, как черный, гулкий шар. Это футбольный мяч. Это земной шар. Это сон. Нет, это не сон. Она слышит голос Ривуара, она слышит свой голос. Он спрашивает, и она отвечает. Но что она говорит? Слов нельзя разобрать, она прислушивается — понять ничего нельзя.

Она с трудом открывает глаза. Люстра по-прежнему отражается в зеркале. Она не узнает комнаты, она не понимает, где она. Она совсем трезва. Только в голове, под левым виском, застрял обрывок тумана, и мешает думать, и болит. Она смотрит на стены, на свое, брошенное на ковер, платье. Она одна. Ей страшно. Она поднимает голову. Рядом с ней, в этой же постели, лежит Ривуар. Он лежит совсем тихо, глаза его закрыты. Она наклоняется, она не слышит его дыхания. Неужели он спит? Но разве так спят? Она привыкла спать с мужем, привыкла к его дыханию, к его присутствию. Она всегда, просыпаясь, чувствовала его присутствие. Но Ривуар? Она видит его, и все-таки его нет. Чтобы убедиться в его реальности, в его присутствии, надо тронуть его. Все предметы — кровать, зеркало, люстра, реальнее его — они здесь, в этом нет сомнения. Подушка, и та всеми своими смятыми углами заявляет о своем существовании. Люке страшно, ей было страшно только что здесь одной, ей еще страшнее вдвоем с этим отсутствующим, не дышащим Ривуаром. Она встает, она одевается. Если бы это было в Париже, она ушла бы одна, не разбудив его. Но как добраться домой? Она наклоняется над ним, осторожно трогает его за плечо. Он просыпается сразу, не просыпается, а обеими ногами прыгает из сна в действительность. Его открытые глаза неестественно блестят, он улыбается, скаля свои белые зубы. Эти сверкающие зубы, эти блестящие глаза на бледном, еще отсутствующем, еще ничего не выражающем лице путают ее, она отворачивается.

— Простите, я заснул, так устал за день.

Он встает, надевает пиджак, поправляет галстук.

В окно стучит дождь.

— Только дождя не хватало, — раздраженно говорит он, как будто все и без того плохо.

— Едемте. Уже очень поздно.

Они спускаются по лестнице, швейцар провожает их с большим красным зонтиком до автомобиля.

Ривуар снова закутывает ее в свое пальто.

Разговаривать не разрешается:

— Такая сырость, еще охрипнете.

Она сидит рядом с ним и смотрит на освещенную автомобильными фонарями мокрую, скользкую дорогу. Ей холодно, ей грустно, ее тонкие туфли успели промокнуть, пока она бежала к автомобилю, ногам холодно, и сердцу тоже холодно. И как грустно. Счастье? Нет, она совсем не чувствует его больше. Можно вздыхать, зевать, можно дрожать от холода, от грусти. Счастье не помешает. Она ничего не помнит. Этот сидящий с ней рядом, молчащий, чужой человек знает о ней больше, чем она сама о себе. Ведь он-то помнит, он-то не был пьян. Но неужели так, как он сейчас, себя ведут «после»? Ей не с кем сравнивать, только с Павликом. Совсем другое «после». Но ведь это была их свадебная ночь. Она была женой Павлика, Павлик был влюблен в нее. Смешно Ривуару быть благодарным. И все-таки такой холод, такая злая отчужденность. Никакого контакта, вернее — порванный контакт. Автомобиль с влажным шелестом проносится мимо мокрых деревьев, мимо мокрых полей, мимо мокрых домов. Дорога пуста. Скорей, скорей, покончить с этим путешествием. Ривуар молчит, он внимательно правит. О чем он думает? Она не решается спросить. Может быть, ему грустно, так же грустно, как ей? Она видит его профиль, его внимательный взгляд, устремленный вперед, его бледную щеку. О чем он думает? И вдруг она слышит — нет, это только кажется ей, этого не может быть — он свистит. Он свистит громко и старательно, с явным удовольствием. Он насвистывает, высвистывает какой-то марш со звонкими, трескучими трелями, с залихватскими переходами. Свистит так, что уличные мальчишки позавидовали бы, свистит, как можно свистеть только одному, когда никто не слышит. Самодовольно, весело, победоносно. Для себя. Он один, ее нет для него. Она сжимает руки, ей хочется остановить, прекратить этот режущий свист. Но она молчит. Она ждет. Все неожиданно, непохоже на то, как она представляла себе. А дальше? Но дальше ничего особенного не случается. Он поворачивается к ней, значит он не забыл, что она здесь: «Хорошо свищу? А?» И она соглашается: «Очень хорошо». «Это марш из нашего фильма. Мы сейчас приедем». Да, они уже въехали в Париж. Булонский лес. Они едут по тихим, пустым улицам Пасси. Он подвозит ее к ее дому, помогает ей снять пальто, спокойно, будто привычно целует ее в щеку. «Приходите завтра в два подписать контракт. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи».

Он еще раз целует ее. Она входит в дом. Вот и случилось. Она поднимается по лестнице, она у себя, она — дома. Она садится на постель, ноги стынут в промокших туфлях, влажная кофточка тяжело давить плечи. Она сидит, не раздеваясь, не двигаясь. Ей хочется плакать. Так плакать, как плакали ее бабушки и прабабушки, уткнувшись головой в подушку. Но бабушки и прабабушки плакали от «падения», греха и стыда. А она? Ей совсем не стыдно, не жаль мужа, не страшно — ведь он не убьет ее, и в грех она тоже не верит. И все-таки она утыкается в подушку головой. Она плачет от жалости к себе, от разочарования, от одиночества. Также горько и долго, как, вернувшись с первого преступного свидания, плакали ее бабушки и прабабушки.

В спальне совсем светло, она смотрит на часы — уже шесть часов. В восемь вернется Павлик. Она встает, она раздевается, мнет простыни и одеяло, чтобы казалось, что она спала. Но лечь она не может. Она дрожит, у нее, должно быть, жар, она простудилась. О том, что случилось, она не думает. Она ходит по спальне взад и вперед — от камина к стене ровно пять шагов и снова поворот и пять шагов. Волнение не проходит, волнение увеличивается, ему нет выхода, и все те же пять шагов, камин, стена. Выход — прыжок в окно, в рассветное небо, на еще чистый, только что вымытый дождем тротуар.

— Ты с ума сошла, Люка, — кричит она. — Ты сошла с ума. Скорей бы вернулся Павлик, — она прислушивается к своему голосу и слышит щелканье ключа в прихожей. Павлик! Она бежит к нему, она обнимает его за плечи, виснет на нем. Он целует ее, чемодан падает на пол, вместо чемодана он вносит в спальню Люку.

— Что? Что с тобой? — бестолково спрашивает он.

Она целует его теплую шею над воротником.

— Я ждала тебя, Павлик, я не могла спать.

От его сильных рук, оттого, что ноги ее уже не касаются земли, оттого, что она над землей, в воздухе, она чувствует легкость освобождения, успокоение. И нежность, главное, нежность к этому теплому, сильному, доброму Павлику.

Вода успокоительно кипит в чайнике, сквозь тюлевые занавески светит солнце. Клеенка на столе скромно и приятно поблескивает, чашки желтые с кружевными трещинками — оттого, что дешево стоили, оттого, что много служили, заслуженные чашки. Масло белым кирпичиком на блюдце и рядом, просто так, на клеенке, без подстилки, без церемоний — полметра хлеба.

— Тебя ждет сюрприз, Павлик, большой сюрприз, — Люка щурится. — Ты никогда не догадаешься.

Его коричневые глаза становятся почти желтыми.

— Неужели ты мне связала пуловер?

Она смеется.

— Какой глупый. Нет, не связала и вряд ли свяжу. Но ты будешь очень, страшно рад. Гораздо лучше пуловера. Только не спрашивай.

И он не спрашивает. Люка кладет ладонь на его теплую, большую руку, и рука его, держащая нож, готовая ножом отхватить кусок масла, намазать его на хлеб, поднести намазанный маслом хлеб ко рту («Зверски голоден, спешил к тебе, даже кофе не пил»), рука его, вздрогнув, выпускает нож и послушно, как собака, вытягивается, прижимается к ее ладони. Вот она дома, со «своим мужем». «Мой дом», «мой муж» не такие уже дырявые, пустые слова. Они лежат, освещенные солнцем, на розовой клеенке, рядом с хлебом, сами как «насущный хлеб» уютной, спокойной, легкой жизни. Да, Люка успокоилась. Это ее дом, это ее муж. Живая, теплая связь с ним, близость, родство. Успокоение изменчиво и расплывчато, как облако, края его поднимаются, сворачиваются, оно становится удивительно похожим на удовольствие. Уже не только покой, а удовольствие. Но вот оно снова меняет форму, цвет и вкус и расплывается целым озером солоноватой, успокоительной, приятной усталости. Если бы немного поспать? Но в спальне надо супружески-привычно-бесстыдно раздеваться, супружески-привычно-нежно обниматься в кровати. Нет, лучше не спать. Она удобнее устраивается на диване, подтягивает колени, кладет голову на диванную подушку.

— Расскажи, Павлик, все твои три дня. Подробно.

Он рассказывает, можно не слушать, не надо отвечать. Он и так рад, что она интересуется его днями. Он рассказывает, и рассказ его сейчас же соскальзывает в сон.

Три удара, и Люка просыпается. Три удара, как удары аукционного молотка, закрепляющие покупку за покупателем, закрепляющие за Люкой ее новую судьбу. Нет, это три удара часов. Неужели действительно уже три? «Ты так крепко спала, мне было жаль будить тебя». Жаль, а из-за этой жалости она опоздала. И теперь ее действительно можно пожалеть, так она испугана, растеряна, потеряна. Ривуар ждет, контракт ждет. Сквозь спешку, суету и страх, сквозь поиски чулок и перчаток надо еще отвечать. «Не приставай, Павлик. Нет, провожать нельзя. Я скоро вернусь и все расскажу». Захлопнутая входная дверь, полет с лестницы вниз, и вот уже такси стучит так же быстро и громко, как ее сердце. От страха ни о чем нельзя думать, страх заменяет мысли, слова, чувства. Страх, что Ривуар не ждет, страх, что она проспала, прозевала свою судьбу.

Она вбегает в подъезд. Лифта, и того нет, надо ждать, пока он спустится. Лифт, жужжа, опускается, жужжа, поднимается. Стеклянная дверь. Контора. Конторщик встает.

Monsieur Ривуар еще здесь.

Сердце, как лифт, жужжа, летит куда-то вниз, жужжа, взлетает обратно. Ждет. Она входит в кабинет Ривуара. Ривуар стоит посреди комнаты, на белом ковре, как среди снежного поля:

— Ваш контракт давно готов.

Она краснеет.

— Где подписать?

Он смеется.

— Прочтите раньше.

Но зачем ей читать? Даже если «в рабство» или «душу дьяволу», она все равно подпишет, она и выводит свое имя большими буквами.

— Теперь все в порядке, — говорит он и деловито повторяет ей то, что она уже знает: сколько денег она будет получать и какие платья, в каких домах. Она выслушивает все, и он, окончив, прибавляет: «Поздравляю вас». Он звонит: «Отнесите контракт кассиру». Конторщик уходит. Дверь снова закрыта, они одни. Она сжимает руки на коленях, чтобы он не заметил, как дрожат ее руки, как дрожат ее колени запоздавшим, устаревшим, ничем уже не оправданным страхом — ведь контракт подписан. «Вы начнете крутить на будущей неделе». Как тягостно, как неловко она себя чувствует. Она встает, она протягивает ему руку. «Спасибо. До свиданья». Надо уйти. Но она стоит и смотрит на него. Отчего он молчит? Отчего он не берет ее руки? И вдруг он притягивает ее к себе. От толчка, от неожиданности она почти падает на него, он целует ее в губы. Она задыхается, она хочет вырваться, но он крепко, до боли, обнимает ее. «Могут войти», — это последняя защита, но и она не помогает. «Ты мне нравишься», — говорит он. Страха больше нет. Страх сразу исчезает. Она в первый раз сознательно целует его. «Я люблю тебя, Тьери», — как ветер вырывается ее голос. Этого она не хотела сказать, этого она даже не думает, но, раз сказав, раз назвав по имени, определив это волнение, этот страх одним словом «люблю», она уже не может остановиться. «Люблю тебя, — повторяет она задыхаясь, — люблю, люблю». Любви накопилось так много, слишком много, что она не может не заявлять, не кричать о себе.

— Ты мне нравишься, — говорит он. Не «люблю тебя», а только «нравишься», но и этого достаточно, этого даже слишком много для вновь вернувшегося, вновь переполняющего ее счастья.

В дверь стучат. Ривуар легко отталкивает ее, она садится в кресло — стоять она все равно не может, ноги совсем не держат, не слушаются. Конторщик отдает ей контракт, кассир кладет перед ней пачку денег.

— За две недели вперед, распишитесь тут, пожалуйста.

Красная губная помада размазана по ее щеке, и шапочка съехала набок, но конторщик и кассир почтительно ничего не замечают.

Она едет домой, вбегает наверх, она звонит не отрываясь — отпереть дверь своим ключом слишком долго, слишком трудно. Муж открывает: «Что случилось?» — «Случилось, — она вбегает в столовую, кладет контракт и деньги веером на стол. — Вот что случилось». Пока он читает, спрашивает, соображает, она, не останавливаясь, кружится по комнате. Он наконец понял. У него скорее растерянное, чем радостное лицо. Она бросается ему на шею. «Как мы с тобой заживем, Павлик». — «Заживем, — повторяет он будто сомневаясь. — Хорошо заживем?» Она не слышит сомненья в его голосе, она слышит только свою радость. «Чудно волшебно, восхитительно...»— «Я всегда ждал для тебя, Люка, совсем особенной судьбы, не такой, как у обыкновенных людей. Но это все-таки слишком неожиданно». Она смотрит на него, на комнату счастливыми, шалыми глазами. Какой беспорядок. Все вокруг — стулья, столы даже цветы на обоях сошли со своих мест, вышли из своих берегов, потеряли смысл, цель, обнаружили, что они совсем не то, что Люка с Павликом думали, — стулья не для того, чтобы на них сидеть, и столы не чтобы обедать, и цветы обоев не жалкое стремление к украшению. Нет, это только декорация, не имеющая практической цели, декорация счастья, торжества, победы. Флаги, развевающиеся в воздухе, гремящий оркестр, кусты цветов, толпа зрителей, а не стулья, не столы, не обои... «Одевайся, Павлик, одевайся. Едем». Она засовывает деньги в сумочку, они под руку идут вниз по лестнице. «Скорей, скорей, столько надо купить мне и тебе». Они садятся в такси. Она едет покупать. Витрины магазинов, у которых она еще на днях долго выстаивала, примеряя умственно шляпу, платье, перчатки, подбирая их друг к другу, сомневаясь, не решаясь, на чем остановиться, будто она действительно собиралась купить и платье, и шляпу, и перчатки, уговаривая себя: «это непрактично», «лиловый цвет скоро выйдет из моды», «розовые перчатки очень маркие», убеждая себя этими уговорами, что она сейчас войдет в магазин и действительно станет настоящей покупательницей. Убеждая, убедив себя, но не вещи в витрине. Нет, вещи всем своим высокомерно дорогим видом давали ей понять, что она их не проведет, они оскорбленно топорщились, стараясь повернуться к ней изнанкой, будто говоря: «Проходи, проходи, все равно не купишь». Но теперь она не останавливается перед окнами. Из такси прямо в магазин. Неужели это те же самые, гордые недоступные вещи, к которым она присматривалась? Они так нежно-навязчивы, так продажно-доступны, как женщины Монмартра, они как будто просят: «Купи меня, возьми меня». Они будто обещают: «Тебе будет приятно носить меня, я украшу тебя». Назойливо, льстиво, подобострастно.

И она покупает. Она надевает на себя новое платье, новое пальто, новые туфли, новую шляпу. Все новое — с головы до ног. Новое, очень модное, очень дорогое. И все эти вещи, за минуту <до того> бывшие ничьими, безличными, нейтральными, сразу ста новятся совсем особенными — ее вещами, проникаются ее счастьем оттого, что они надеты на ней.

Она торопится. Скорей, скорей. Теперь ему, Павлику. Из магазина в магазин. Все надо успеть купить. Она выбирает мужу пуловер: «Теперь уже не успею связать. Надо было раньше, теперь некогда». Он соглашается. Да, надо было раньше. Все надо было раньше, теперь уже не успеешь. Поздно.

Она кивает, не понимая.

— Да, поздно. Магазины закрывают, и я устала, — говорит она жалобно. — Мы поедем обедать в тот ресторан.

В тот, о котором он часто говорил: «Вот я заработаю много денег и повезу тебя обедать». Они сейчас поедут туда, в тот самый ресторан. Правда, не он, а она везет его. Но разве она была бы так невероятно счастлива, если бы он на свои деньги повез ее туда? Так невероятно, небывало, сверхъестественно счастлива, что у нее, глядя на него, сжимается сердце от жалости.

Она гордо входит в ресторан своими счастливыми ногами в своих новых туфельках, которые уже успели перенять выражение счастья. Он идет за ней, он смотрит на ее плечи, на завитки ее светлых волос под шляпой. И по плечам, по затылку, по волосам ясно чувствует, что она сейчас улыбается счастливой, торжествующей, изнемогающей улыбкой. Она сидит за столиком напротив него. Только вчера, в это же время, она сидела так напротив Тьери. И все было почти так же. То же счастье и даже почти та же музыка. Она прислушивается к музыке, прислушивается к себе. Она пьет вино. Она улыбается. Это ее муж сидит здесь. Нет, это Тьери. Она улыбается мужу, она улыбается Тьери. «Я счастлива, — говорит она, изнемогая, желая отдать часть этого слишком тяжелого, мучительного счастья. — А ты?» Он кивает. Она протягивает ему руку через стол, он целует ее пальцы. «Ты тоже счастлив, Павлик?» Да, все, как вчера. И вообще это не сегодня, это вчера. «Я тебя люблю, — говорит она Тьери, и муж вздрагивает, наклоняет голову. — Люблю, люблю», — повторяет она. Отчего повар не танцует, отчего нет камина? Она не спрашивает об этом, но камин и повар с флейтой были бы очень кстати сейчас. «Мне весело, слишком, слишком, — она смеется, — как чудно, разве мы мечтали? Исполненная мечта, как ты говорил всегда». Но это больше, гораздо больше. Да, это больше. Это «разбитая мечта». Может быть, его страх напрасен? Он кладет ладонь на ее руку, он робко заглядывает в ее глаза: «Люка, обещай мне, поклянись мне, Люка». Она не слушает, она смотрит на женщину в меховой накидке. Она вытягивает руку из-под ладони. «Посмотри, Павлик, вот такую накидку мне надо купить. Вот такую... В этой, черной, у окна, видишь?»

Он замолкает. Он не говорит, он никогда не скажет того, что хотел сказать: «Люка, обещай, поклянись, что никогда не бросишь меня».

Если бы он сказал, если бы попросил, унизительно признавая свою рабскую зависимость от нее, меняясь жизнью выработанными ролями (жена слабая, муж сильный, он защитник, она нуждается в нем), признавая ее власть, отдавая свои права, выясняя раз навсегда: «Не могу без тебя, Люка». Если бы он попросил, она наверно поклялась бы и с той же веселой готовностью обрадовать его, с какой только что дарила ему галстуки, подарила бы клятву: «Никогда. Навсегда. Только будь доволен. Не мешай моему счастью». Она поклялась бы, и он мог бы еще дышать спокойно... Но он молчит, и она не клянется. Она пьет вино. Она поправляет счастливый цветок у выреза счастливого платья. Она заказывает спаржу. «Спаржа», — как приятно произнести. Вчера она ела спаржу с Тьери. «Я люблю спаржу», — говорит она и краснеет, будто выдала себя, будто сказала: я люблю Тьери. Но муж не понимает, не может понять. Они пьют за ее успех, за ее богатство. «За мое счастье», — предлагает она. «Мое», а не «наше». «Мое счастье» — значит за любовь Тьери. Но муж не понимает, он чокается с ней, он пьет: «За твое счастье, Люка».

Домой они возвращаются поздно, немного пьяные. Она — от влюбленности и счастья, он — от страха за будущее, за свою любовь. Они входят под руку, они смеются. Он помогает ей раздеться. «Развяжи», — говорит она, и он развязывает ее пояс. Ему кажется, что он развязывает не ее пояс, а живую теплую связь, ту ленточку, ту ниточку, которая еще связывала их сегодня утром и которая понемногу развязывалась за этот сумасшедший, суетливый день, за этот веселый, пьяный вечер и вот теперь, окончательно развязавшись, голубой полоской лежит на полу между ними.

Люка снимает платье, сбрасывает туфли — она уже в постели.

— Где ты? — спрашивает она сонными губами, закрыв сонные глаза.

И вот она одна, одна с Тьери. Он рядом с ней, она засыпает, положив голову на его плечо. Она спит, и во сне ни Тьери, ни счастье не покидают ее. А он, Павлик? Ее муж? Она больше не помнит о нем. Разве она не была с ним очень мила, очень щедра, очень добра? Чего же еще требовать от нее?

Чего же еще требовать? Он ничего и не требует. Он лежит рядом с ней, он чувствует на своей груди теплую тяжесть ее головы. Он смотрит на ее прелестное, детское лицо, побледневшее от счастья и усталости, на ее волосы, похожие на завитой лунный свет. Она лежит не шевелясь, трогательная, теплая, беспомощная. Вчера была последняя беспечная ночь в его жизни. А он и не знал.

Лица, головы, флаконы, аппараты для завивки и сушки волос, зеркала под разными углами, отражающие эти лица, флаконы и аппараты с бесчисленными отражениями, уводящие их за границу света и реальности в блестящую потусторонность зеркального мира, дробящие, перекашивающие, ломающие их на отдельные части, на составные элементы, переводя всю банальную парикмахерскую из плоского жизненного плана в таинственный план искусства. Глаз, отражающийся в скошенной плоскости фацета[[9]](#footnote-9), глаз сам по себе, увеличенный, сияющий, как осколок каменного угля во льду, непонятный, значительный своей собственной необъяснимой жизнью, пугающий и прекрасный. Глаз, не составляющий целого ни с чьим лицом, не освещающий, не гармонирующий, не украшающий — глаз сам по себе. И внизу, в продольном четырехугольнике зеркала, рука сама по себе, рука с длинными пальцами и красными ногтями, отрезанная у кисти металлической рамой.

Колпак для сушки волос шумит, как аэроплан. От горячего ветра, который дует в уши, от шума кажется, что летишь. И даже слегка мутит от полета, от жары. Люка закрывает глаза. Она летит высоко над землей, над судьбой. Отчетливо и ясно видно все. Вот она, ее прошлая жизнь, ее прошлые дни. В этих днях так много голубого цвета, будто это голубые озера, голубое небо, голубые горы. Но ведь она жила в Париже, она не видела ни озера, ни гор, откуда взялась вся эта голубизна? Она присматривается. Нет, это не озера, не горы, не небо. Это покой. Это покой, наполнявший ее жизнь. Покой — тогда она звала его скукой. Теперь она видит, какой он был легкий, нежный, воздушный. Дни высокие, голубые, большие. Такие поместительные. Чего только в них не было — так много звуков, запахов, чувств, совершенно потерянных теперь. Земля скрипела под ногами, от лампы ложился желтый теплый круг на покрытый белой скатертью обеденный стол, вечером на стенах вытягивались черные тени, зимой было очень, до слез, холодно, летом листья были зеленые и цветы цвели и пахли, утром ставни с трудом открывались, норовя ущипнуть за палец, пыль удивительно быстро омрачала блеск полированного буфета, с нею велась ежедневная борьба, под окнами играли и кричали дети. Все было наполнено, дышало, звучало, жило в спокойной скуке, в теплой прелести жизни. И была чисто физическая радость, совсем не зависящая от событий, была восхитительная усталость перед сном — «вот сейчас усну», было веселое любопытство утром — «какая погода?» и, «как хорошо, что весна», и «как хорошо, что зима», и «как хорошо, что я живу в Париже», и «как жаль». Целая серия «как жаль» — легкое сожаление, в сущности не менее приятное, чем радость, — скользившее по поверхности, как бумажные кораблики по воде, не задевающие глубины, не мутящие стеклянной глади покоя.

Она садилась в кресло у открытого окна. Ей казалось, что она скучает. Она сидела долго одна, ничего не делая, сквозь скуку чувствуя, как в ней медленно скопляются силы жизни, как они, эти силы, проникают в нее из земли через тонкие подошвы туфель, через теплые ладони, через рот, через открытые глаза. Из земли, из воздуха, из света. Собираются в ее груди, в ее сердце нерастраченным запасом, накопленным богатством. Тогда она только накопляла, собирала силы, готовясь жить. Накопляла, собирала из земли, из каждой пролетающей минуты, из тепла, холода и света. Огромные запасы, целые склады, которые, казалось бы, нельзя было растратить. Но вот прошло только три месяца, и она истратила все, что скопила, все, без остатка, — проносила до дыр свою кожу, так что чувствует, как горячий ветер дует прямо в ее сердце.

Жужжание аппарата для сушки волос обвевает голову горячей усталостью. Мысли копошатся, как муравьи, строящие, нет, вернее растаскивающие, разоряющие что-то — они разбегаются, торопятся, работают впустую. Голова болит, и нельзя даже понять, что больше мучит — то, что сейчас придется сказать Павлику, что она опять уходит из дома сегодня вечером, или то, что до этого выхода из дома, до этого вечера еще так далеко. Борьба с временем — главное, чем теперь полна жизнь Люки, борьба с часами и минутами, которые надо прожить без Тьери в ожидании встречи с Тьери. Теперь ее дни тяжело громоздятся друг на друга, лежат кучей — приплюснутые, разбитые, как вагоны после железнодорожной катастрофы. Одного теперешнего дня хватило бы на месяцы той прежней воздушной, голубой жизни. Теперь ее тесные, душные, темные дни перегружены спешкой, тревогой, работой в студии и влюбленностью. Главное — влюбленностью.

Люка вдруг видит себя на знакомой дороге, около завода мужа. Она стоит закинув голову, в своем старом клетчатом платье и смотрит на небо, на аэроплан. Он пролетает совсем низко, вот сейчас он опустится здесь, около нее. Нет — он поднимается, он улетает, она щурится, только бы не потерять его из виду. На нем, на этом аэроплане, улетает ее судьба, среди белых туч в голубом небе, в солнечном сиянии, все выше и выше. И вот уже ничего не видно. Пускай улетает судьба. Но аэроплан продолжает шуметь. Люка стоит на дороге, она ясно видит себя, свое огорченное лицо, свою белую шляпу, свои голые ноги в запыленных сандалиях. Она стоит на дороге, вместе с тем в одно и то же время сидит в аэроплане. Она одна, пилота нет. Она правит аэропланом, она судорожно держит руль, ей страшно. Страшно, как было страшно, когда она училась править автомобилем. Нет, еще страшней. Только бы не налететь на тучу, не задеть звезды. Она тормозит, она нажимает акселератор, она вертит руль, она совсем не знает, что делать. Но все идет прекрасно. Аэроплан слушается ее. Вот сейчас она благополучно снизится, долетит до той грустной Люки, которая стоит там, внизу, на дороге. Но вдруг в глазах темнеет, руки слабеют и выпускают руль, нет ни воли, ни сил. Ужас глухо ударяет в сердце. Это черная точка. Черная точка, от которой пилоты теряют сознание.

Люка открывает глаза и невидящим взглядом смотрит в зеркало на свое посмертное лицо, на сестру милосердия в белом халате. Но это не сестра, это маникюрша.

— У мадам прекрасные руки, — говорит она, глядя на Люку с раз навсегда для всех клиенток установленным профессиональным восхищением. Может быть, она действительно восторгается Люкой, но другого выражения лица, кроме этого профессионального, у нее все равно нет.

Люка кладет пальцы в теплую мыльную воду. Вместе с ощущением действительности возвращается усталость и беспокойство. Который час? Скоро ли она уйдет отсюда? Как долго, как мучительно долго она уже сидит здесь.

Наконец волосы высохли. Парикмахер освобождает голову от колпака, расчесывает волосы, свивает локоны на пальцах, укладывает их. Долго, мучительно долго. Но вот последний волос уложен и завит, с прической больше делать решительно нечего. Парикмахер, наклоняясь, заглядывает то слева, то справа, отходит на шаг, даже присаживается на корточки и вдруг, вытянувшись во весь рост, поднимает руку и чертит над головой Люки круг, как сияние над головами святых.

— Готово, мадам.

Люка встает, вынимает из сумочки ключи от автомобиля — эмблему свободы и власти над пространством, которыми современная женщина гордится совсем так же, как ее мать гордилась ключами от шкафов и комодов, — эмблемой домашней власти и несвободы.

Сквозь широко распахнутую дверь парикмахерской, сквозь низкий поклон швейцара на улицу, на воздух, к своему автомобилю. Опять заставили машинами, выбирайся теперь. Она, морщась, берется за руль. То, что она только что причесалась в одной из самых элегантных парикмахерских, то, что она едет в собственном автомобиле, совсем не радует ее. Если бы это случилось год или полгода тому назад... Но теперь ей не до парикмахерских и автомобилей. Все всегда приходит не вовремя. Слишком рано или слишком поздно, когда еще или уже нельзя радоваться. Теперь это все только лишняя нагрузка усталости: и парикмахерская, и автомобиль. Надо осторожно править — ведь только два месяца, как она научилась. Полицейский останавливает движение. Ждать, опять ждать.

Она подъезжает к своему дому. Она так и не переехала из него. Ей все равно, а Павлик привык, привязался, прирос к нему сердцем. «Здесь я был счастлив. Если мы бросим эту квартиру...» Нет, она не бросит, не все ли равно, где жить, где жить без Тьери?

Горничная открывает ей дверь. Теперь у нее горничная и квартира заставлена новыми, дорогими, наспех купленными вещами. Но от этого не стало красивее. Напротив — нарушились какие-то пропорции, какие-то законы уюта и домашности. И главное — новые вещи не сумели прижиться, ужиться здесь. Между ними и старыми идет вражда, это чувствуется в воздухе. Но Люке все равно, пусть вещи враждуют, какое ей дело? Пусть Павлик не садится в купленное для него модное кресло, пусть радио как назло поет только рекламы, когда она случайно откроет его. Пусть.

Она отдает прислуге шляпу и пальто, она идет в спальню, ложится на постель.

— Потушите свет.

Она лежит в темноте неподвижно, вытянувшись на спине. Сейчас она отдохнет. Но отдыха нет. Так же как гордости, как радости. Всего того, что она испытывала раньше, больше не существует. Только одно чувство жизни. Она живет. Теперь она каждую минуту чувствует, что живет, она чувствует всю себя, свои напряженные мускулы, свои кости, свою медленно и тяжело переливающуюся кровь, свое пульсирующее горло. Ощущение жизни переполняет, душит ее, оно как огонь горит в ней, сжигая ее жизнь. Тяжесть своего костяка, своих мыслей, своего сердца. Невозможность улечься свободно и мягко, освободиться от напряжения, от себя, от влюбленности, свернуться, как прежде, теплым комком, пакетиком, внутрь, сама на себя, невозможность уйти, хотя бы на минуту, в свою, только себе одной доступную, теплую, мягкую суть, к самым истокам своего существа, юркнуть туда, как лягушка в тину, туда, где так еще молодо, зеленоватым огнем, как огонь маяка, светится ее жизнь, набраться собственной, ей одной присущей радости, собственного, ей одной присущего покоя. Невозможность, как прежде, снова вынырнув на поверхность, с веселым нетерпением широко развернуться навстречу всему тому, что случится. Всему, что случится. Но теперь это «все» просто не существует. Ничего не существует, кроме Тьери. Тьери, для Тьери, о Тьери, за Тьери. Она беспокойно двигает головой, никак нельзя удобно уложить эту изнемогающую от влюбленности голову. Как она устала. Темно, тихо, тревожно. Нет, встать нельзя. Надо лежать, надо отдыхать. Лежать так с закрытыми глазами, с компрессом на усталых веках. На широкой постели, как на лодке, плывущей по пустой, черной реке. Это ощущение лодки, аэроплана, поезда, незнакомое прежде, повторяется все чаще и чаще. Будто она плывет, будто едет куда-то. Покоя нет, невозможно ни на минуту пристать к берегу — ее сейчас же уносит, она сейчас же куда-то улетает. Вечное движение, вечная тревога, вечная усталость. И все-таки это счастье, вдруг вспоминает она. Да. Счастье. Через час она будет с Тьери. Она больше не может лежать, она садится на постели и как пружина вытягивается и сворачивается до предела, до дрожи. Темнота снова приходит в движение. Все движется, спешит, летит, уплывает. Черные волны реки бегут перед глазами, поезда пролетают в искрах, кровать раскачивается, и ветер шумит в волосах. И она сама движется, бежит, летит куда-то, и нельзя остановиться, зацепиться, перевести дыхание.

Дверь тихо отворяется. Полоса света падает на кровать.

— Павлик, — кричит она, пока он еще не вошел. — Я должна обедать сегодня с Герэном и Ривуаром. Теперь он знает, самое трудное сделано. — Не зажигай света, Павлик, — это чтобы не видеть его глаз.

Он подходит к постели в темноте. Ей очень жаль его, она готова на многое, чтобы утешить его.

— Люка, ты никак не можешь остаться?

— Нет, нет, — голос ее звучит жестоко.

Она готова на многое, но не на то, чтобы отказаться от встречи с Тьери.

Он молчит, он сидит на краю постели, она чувствует, как он несчастен, как ему тяжело. Она в темноте, ощупью находит его руку, кладет ее под свою щеку.

— Я устала, — жалуется она. Она знает, что, если он пожалеет ее, ему самому станет легче. — Я не могу больше, Павлик, у меня нет больше сил.

— Люка, нельзя так утомляться, ты заболеешь.

Она трется щекой о его ладонь.

— Теперь уже недолго, Павлик. Я скоро кончу фильм. И тогда мы уедем с тобой на юг, в Ниццу. Ты возьмешь отпуск, мы уедем вдвоем на целый месяц.

— Да, да — соглашается он. — Мне дадут отпуск, я не брал летом. Месяц вдвоем, в Ницце. Неужели это правда будет?

И вдруг она понимает, что это действительно так и будет, что она действительно уедет с Павликом на юг, что она действительно расстанется с Тьери на целый месяц, что это будете разлука, настоящая разлука, настоящее горе.

— Люка, там пальмы, как в Африке, и море. И замечательно красиво.

Люка слушает и уже ненавидит это никогда еще не виденное море и пальмы, как в Африке. Неужели придется пережить разлуку? Любовь, разлука. Разве бываете любовь без разлуки? Как она раньше не догадалась? Разве можно без разлуки? Павлик мечтает вслух о Ницце. Да, она утешила его. Теперь у него, должно быть, почти веселые глаза. Его горе перешло к ней через его теплую руку, лежащую под ее щекой, все до последней капли. Это уже не жалость к нему, скользящая по ее коже, это боль, врезающаяся в ее грудь, в ее сердце. Наверное, у нее, а не у него, сейчас глаза собаки, воющей на луну от тоски.

— Да, Павлик, мы уедем с тобой на юг. Скоро, очень скоро.

Прислуга тихо стучит: «Людмила Алексеевна, уже половина восьмого».

Половина восьмого. Через тридцать минут она увидит Тьери. Разлуки может еще и не быть, а Тьери она непременно увидит. Она зажигает свет.

— Я отдохнула с тобой, Павлик, — она встает. — Все будет очень хорошо, — обещает она ему и себе. — Очень хорошо, — одобряет она свое платье, и накидку из серебристых лисиц, и маленькую забавную шапочку. — Очень хорошо, — говорит она, спускаясь с лестницы.

И это последнее «очень хорошо» означает, что минута встречи с Тьери наконец наступила. Она выходит из подъезда, но автомобиля Тьери нет. Сотни случаев катастроф, сломанных рук, раздробленных черепов, кровавых луж смешиваются с надеждой — «просто опоздал». Чувство горького сиротства, потерянности. Боль во лбу, как звезда, освещающая все страхом. Десять, двадцать лет жизни отдать, только бы... Но ни двадцати, ни десяти лет жизни не приходится обещать судьбе. Тьери останавливает автомобиль у тротуара. «Давно ждешь?» Он не извиняется, не объясняет причины опоздания. Он тут, перед ней, живой, целый, улыбающийся. Радость, как удав кролика, проглатывает остатки волнения. Она садится рядом с Тьери. Она совсем спокойна, совсем счастлива, совсем неподвижна. Движение, спешка, время — все остановилось. Автомобиль врос в землю, пустил глубоко корни. С двух сторон в окнах бегут дома, фонари и прохожие. Но автомобиль неподвижен в статическом счастье. Цель достиг нута: Люка рядом с Тьери. Ни времени, ни движения больше нет. Пространство, загроможденное домами, людьми и машинами, летит мимо окна. Но они — Люка, Тьери и автомобиль — не участвуют в этом полете. Они на острове неподвижности и счастья. Тьери мельком взглядывает на нее: «Хорошо». Это «хорошо» относится к ее платью, ее шляпе, к ней. Хорошо. Счастье — это полное отсутствие ожидания, движения, желания. Счастье — это покой. Она молчит, ей даже нечего сказать.

— Что же ты? Выходи.

Тьери открывает дверцу автомобиля. Ей не хочется выходить, приводить в движение все рычаги воли и мускулов. Но она уже послушно входит в ресторан, осторожно ступая, чтобы не вспугнуть чувство покоя, как голубя, сидящего на ее плече.

Герэн уже ждет. Он преувеличенно вежливо кланяется, преувеличенно вежливо целует ее руку. Маленькая обида. Тьери, здороваясь с ней, никогда не целует ей руку, и снова радость, как удав кролика, сразу проглатывает еще не успевшую зашевелиться обиду. Люка садится и, улыбаясь, смотрит на Герэна. Вот она сидит здесь на желтом бархатном диване, рядом с Тьери. Совсем счастливая, совсем спокойная. Вся здесь, со всеми своими мыслями и надеждами, со всей своей сконцентрированной на этой минуте жизнью, в своей лучшей шляпе и накидке из серебристых лисиц.

Вот она сидит с Тьери здесь, в ресторане, и сейчас будет обедать. Сидит на диване, не летит, не плывет. Тревога остановилась. Жизнь прекрасна. Ничего больше не надо. Тьери здесь, рядом. Его руки, его лоб, его голос, его колени, все, по чему она так томилась и скучала, здесь. И ее колени, ее локти, ее руки счастливы, спокойны. Ничего, что Герэн тоже здесь. Он не мешает, ничто не мешает, раз Тьери рядом с ней. Покой продолжается. Легко, спокойно, привольно, не спеша возникают ощущения. Приятны цветы на столе и томительные гавайские гитары, и то, что хочется есть, и то, что все видишь, понимаешь и слышишь не хуже, даже лучше, чем кто другой. Оттого, что Тьери тут, рядом. Неподвижность, покой, тишина, несмотря на музыку, на разговор. Как будто времени больше нет. Она выпала из него в восхитительную паузу, в прозрачную остановку, в сияющий полет счастья.

Герэн говорит, и Тьери тоже говорит. Их слова скользят, как ветер, по перьям ее шляпы, по шерсти ее лисиц, не проникая в нее, не тревожа, не перемещая покоя ее сознания. Она слушает улыбаясь.

Они обедают, спешить некуда, волноваться не о чем. Она молча слушает разговор Ривуара и Герэна. У Герэна гладкий, голый, совсем не противный череп, ясные глаза. Он постоянно касается левой стороны пиджака, не то чтобы проверить, не украли ли бумажник, не то чтобы убедиться, что сердце на месте. Этот жест она запомнила в первый же вечер знакомства, но о чем он беспокоится, о сердце или о бумажнике, так и не выяснила. Он очень богатый, этот Герэн, у него миллионы, прожить, истратить их невозможно. Даже трудно представить себе столько денег — гора серебряных двадцатифранковых монет, гора тысячефранковых билетов и между ними, как мышь, бегает юркий, лысый, моложавый Герэн в черном костюме со светлыми гетрами на быстрых, немного кривых ногах. Гора родила мышь, нет, мышь родила гору. Трудно представить себе величину этой горы. Но какое дело ей, Люке, до Герэна и до его денег.

Герэн, улыбаясь, смотрит на нее, он кончил деловой разговор.

— Это странно, — говорит он ей, — но мне всегда кажется, что вы освещены прожектором. Где бы вы ни были, весь свет сосредоточен на вас, вы всегда в светлом круге, а все остальное в тени, и вас сразу видно, сколько бы людей ни было. И еще вы видны сами — ваше лицо, ваши волосы, ваши глаза, руки. А у других женщин видны их шляпы, их платья, даже цветы на столе перед ними, а не они сами.

Тьери спорит — у него нет этого ощущения света, связанного с Люкой.

— Самое удивительное в вас (он так и говорит — «самое удивительное», и значит, в ней еще много удивительного, если это самое удивительное), что вы всегда такая, как ждешь, как надо в данную минуту, в данном случае, что вы не разочаровываете, как все, что о вас никогда не говоришь себе: «вчера она была лучше» или «она казалась мне красивее», не думаешь даже: «каким она была прелестным подростком» ни «какой очаровательной она будет через десять лет». Нет, вы сегодняшний день, вы самое современное существо, которое можно себе представить. Не вчера, не завтра, а сегодня. Без всякой необходимости в поправке, без жалости о вчерашнем, без ожидания завтрашних добавлений, украшений, вполне совершенное сегодня.

Он отпивает глоток вина и смотрит Люке прямо в глаза.

— И все-таки вы не талантливы. Я ошибся в вас. Да, ошибся, как это ни странно.

Она чувствует легкий стук в лоб, будто слова о ее неталантливости, соскользнув с перьев шляпы, стучатся в ее лоб. Но стук совсем легкий. Можно не открывать, не впускать в мысли это известие о неталантливости. И ведь оно не ново. Она сама знает, что она неталантлива. Все началось с ошибки. Вначале была ошибка, вначале была ложь. Да, она неталантлива. Она, играя, никогда не испытывала чувства вдохновения, когда кажется, что достаточно протянуть к окну руку, чтобы сорвать с неба звезду. В студии, на плато, она ни на минуту не перестает видеть светлые глаза Тьери. Его глаза, как цепь, к которой она привязана. Она чувствует себя собакой на цепи. Она старается только как можно точнее исполнить его приказания. Какое уж тут вдохновение.

— И все-таки, — говорит Тьери, — я сделаю вас знаменитостью. Вот увидите...

Теперь они сидят на низком диване, покрытом ковром. Свет идет от столов, освещая ведро с шампанским и стаканы — самое нужное здесь. И еще руки, наливающие шампанское в стаканы, поднимающие стаканы к губам. Но головы и лица тонут в тени. Покой все еще длится. Его не может нарушить даже гортанное, страстное цыганское пение. О горе, о разлуке. Но для Люки это сейчас ничего не значит. На острове покоя, на котором она с Тьери все еще живет, таких слов просто не знают. Остров окружен стеклянной стеной, о его стеклянную стену разбиваются крики горя и разлуки, доходят сюда очищенные, освобожденные от боли, нежной, воздушной песней. За стеклянной стеной, растекаясь по ней узорами, как дождь, падает электрический свет, освещая то трен[[10]](#footnote-10) белого платья певицы, то лицо, то кусок жизни сидящих за столиками. О них, о сидящих за столиками, можно сейчас все угадать, почувствовать, можно понять, почему плачет эта женщина и улыбается та. Все узнать — их настоящее и даже будущее. Но Люке неинтересно. Она поворачивается к Тьери. Только он и она. Ничего, кроме них двоих и этого покоя. Герэн требует счет. Еще немножко. Еще минутку. «Еще минутку, господин палач». Но минутка проходит, и стеклянная стена падает в шуме отодвигаемого столика. Люка идет к темному выходу, и у самой двери, как нож, предательски брошенный в спину, ее настигает гортанный голос, вдруг ставший понятным и страшным:

*Было горе, будет горе,*

*Горю нет конца...*

Люка вздрагивает и переступает порог в ночь, в дождь, в тоску. От покоя не осталось даже легкого следа в мокром темном небе.

И автомобиль сразу приходит в бешеное движение, и время, входя в свои права, заявляет о себе голосом Герэна:

— Как поздно. Три часа. До завтра.

Будто стараясь еще ускорить бег времени, приблизить завтра, зачеркнуть сегодня. Неужели сегодня уже совсем кончено и Тьери сейчас отвезет ее домой?

От фонаря на мокрую мостовую ложатся мокрые пятна света, шины с шелковым шуршанием скользят по лужам. Ожидание — куда свернет Тьери. Направо — значит, к ней, — на сегодня всему конец, налево — значит, к нему, и жизнь еще продолжается. Автомобиль заворачивает налево. Она вздыхает, сцепившиеся пальцы слабеют, и руки соскальзывают с колен, напряжение падает, она прислоняется к плечу Тьери и закрывает глаза. Дождь стучит матовым успокоительным стуком. Автомобиль останавливается. Они выходят. Она ступает в воду, и туфля сразу промокает.

— Осторожно, — говорит Тьери, но она не чувствует ни воды, ни холода, не понимает, к чему это «осторожно» относится.

Его квартира, его «дома» — единственное «дома» — на земле. Он живет здесь, каждый вершок пола исхожен его ногами, на каждом клочке обоев останавливались его глаза. Его кабинет с песочным ковром, с песочными стенами, большой, пустоватый, металлическими креслами и колючими кактусами почему-то всегда напоминающий о Сахаре и сейчас же вызывающий связанную с воспоминанием о Сахаре — жажду. Всегда, входя сюда, ей хочется пить, и всегда она сейчас же забывает об этом. Она сидит на широком диване в его спальне, она сняла платье, сбросила мокрые туфли, чулки. Из ванной доносится шум воды. Она прислушивается к восхитительному шуму воды. Тьери купается. Она не смеет войти к нему. Он не торопится, как будто она не должна будет сейчас уйти от него, как будто они вместе живут здесь. Сейчас он придет. Ей кажется, что она действительно живет здесь с ним, что это ее жизнь и другой жизни — жизни с мужем — у нее нет. Только с Тьери, вокруг Тьери, для Тьери. Ей хочется лечь на пол, чтоб он прошел по ней, как по ковру. Собачья любовь. Она прежде смеялась над рабскими женскими чувствами, а теперь... Она вытягивается на диване под пуховым одеялом. Она дома, Тьери сейчас придет, завтра утром они будут вместе пить кофе. А в студию она совсем не хочет. Ни студии, ни карьеры. Они живут так, как с Павликом, но с Тьери. Так просто, так скромно, так вдвоем. Она хозяйничает, она сама готовит обед, сама убирает комнаты, сама стелет постель. Больше ей ничего не надо. А летом они вдвоем уедут, все равно куда, но вдвоем. И никогда никакой разлуки. Даже на день.

В открытую дверь входит Тьери в своей белой шелковой пижаме с газетой в руке. Такой, как всегда— «в сиянии и славе», несмотря на пижаму. На нем даже пижама сидит, как фрак, совсем не домашне, неуютно-мешковато, а элегантно, подтянуто, официально. Он кладет газету на столик.

— За целый день не успеешь и прочесть. Знаешь, я думал о тебе. Ты не спишь? — она приподнимается и качает головой. Он ложится рядом с ней. — Я думал о тебе, — повторяет он. — Да, очень серьезно думал. Знаешь, с тех пор, как ты со мной, мне во всем везет, — он целует ее в губы. — Ты приносишь мне счастье.

Он обнимает ее, и она, прижимаясь к нему, вдруг начинает дрожать, как от страха, как от лихорадки. Все темнеет перед глазами, и вдруг белый ослепительный свет зажигается перед нею. Это совсем другой, это новый, восхитительный мир. Все в нем ново, чисто, прозрачно. Деревья высоко поднимают в воздушном небе тонкие ветки с легкими, прекрасными листьями. Стволы деревьев тоже прозрачны, видно, как в них, как по каналу, переливается сок жизни, как он поднимается в ветки, в тонкие прожилки листьев, блестящий и густой. И земля тоже прозрачна, корни деревьев глубоко переплетаются между собой. В земле под корнями спит бархатный, слепой крот, подогнув когтистые лапки, уткнувшись мордочкой в землю, большие белые черви медленно сворачиваются и разворачиваются над ним. Корни как цветы, — будто это не корни, а цветы, цветущие в прозрачной, легкой, светящейся земле. На ветке дерева сидит маленькая птица. Она ясно видна, сквозь ее серые прозрачные перышки видно, как бьется ее маленькое сердце, как кровь бежит по ее венам, ее горлышко напрягается и движется, ее клюв открыт, она поет. Но песни нет, звука нет. Никаких звуков нет в этом новом, непроявившемся, неосуществившемся мире. Звук еще не родился. Еще нет звука, как нет еще силы, плотности, старости. Все еще ново, нежно, бессмертно. Это первый день, первый час творения. И все ждет звука, требует одобрения. Этот мир создан только для Люки, она одна может навсегда закрепить, утвердить, сохранить его. Ей надо найти слово, и она находит его. Она должна сказать «да». Только «да». Согласие, утверждение. Этого довольно — да, да, да. Все ее восхищение, вся ее радость, ее благодарность — да, да. Вот сейчас она скажет «да», и птица на ветке запоет, и ветер нежно зашумит листьями. Но вместо «да», вместо ее голоса, говорящего это «да», она слышит резкий, длинный, хриплый крик, будто это не она, а затравленный, раненый заяц кричит: «Е-и, е-и. Тье-ри». Она открывает глаза: прямо над ней белый, выкрашенный масляной краской потолок, освещенный снизу лампой— рефлектором, белый, блестящий. С этого ледяного, блестящего потолка в ее еще открытое, потрясенное, беззащитное сердце смотрит тоска. Она одна. Она слышит свое дыхание, свое одиночество. Куда исчез Тьери? Она медленно поворачивает голову и видит его. Он спит, он тихо лежит рядом с ней. Как мертвый. Нет, мертвый все-таки существует, а его точно нет в этой комнате, нет в этом городе, нет в этом мире. Подушка под его головой, одеяло, покрывающее его, газета на столике — все предметы вокруг настоящие, живые, реальные. И они, заявляя о себе, только еще больше подчеркивают отсутствие, нереальность Тьери. Ей становится страшно, как тогда, в первую ночь в гостинице. «Тьери, — кричит она, — Тьери!» И сразу, как будто щелкнул выключатель, к Тьери возвращается жизнь. Никакого перехода от сна к действительности, он смотрит на нее ясными, сознательными глазами. «Я, кажется, заснул», — говорит он трезвым, рассудительным голосом. Страх исчезает, но тоска остается. Она прижимается к его плечу: «Мне надо уходить, Тьерри». Ей всегда тяжело говорить об уходе, но сейчас это даже как-то облегчает тоску, объясняет ее, служит причиной тоски. Будто ей, Люке, грустно оттого, что она должна уходить, и только оттого.

— Уже четыре часа, Тьери.

Он садится на диван, он крепко берет ее за плечи.

— Ты хочешь уйти? — спрашивает он, как будто она не уходит так каждую ночь.

Он говорит быстро и громко. Нет, он не хочет, чтобы она уходила. Она должна остаться с ним. Совсем, жить с ним. Он сегодня понял это. Она приносит ему счастье, он не хочет делить свое счастье с другим. Она нужна ему. Она должна быть его женой. Его руки крепко держат ее за плечи: «Ты должна быть моей женой». Она ничего не отвечает, она лежит тихо и смотрит в его взволнованное, склонившееся над ней лицо. Она молчит. Ей кажется, что, если бы он сейчас потушил свет, он увидел бы светящийся кружок. Кружок, который парикмахер очертил сегодня над ее головой. Он, наверно, светится, как у святых на иконах. Не от святости — от счастья.

Она выходит на улицу. Дождь все еще продолжается. Она жадно, с наслаждением подставляет свое разгоряченное лицо под дождь, с наслаждением, жадно прижимает мокрые руки к щекам. И это так странно, что она останавливается и громко смеется.

— Ты рысь, дикая лесная рысь, Люка, — говорит она сама себе и слизывает капли дождя с губ и с пальцев. Как чудно, что идет дождь. Она останавливает такси. Впервые за три месяца она возвращается счастливой. Впервые она возвращается совсем невероятно счастливой. Счастливой оттого, что скоро совсем не надо будет возвращаться. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой».

Она поднимается по лестнице, перепрыгивая через ступеньку: я — хочу — чтобы — ты — стала — моей — женой — семь ступенек, по слову на ступеньку, семь — счастливое число. Она счастлива, и все остальные должны быть счастливы — она только что дала шоферу такси десять франков на чай, она завтра подарит прислуге почти новое платье, она скажет в студии попавшейся ей под ноги статистке: «Вы, наверное, сделаете карьеру», и остальные будут счастливы. Но тот остальной, самый остальной, который ждет ее в этом доме, которому она должна объяснить это «я — хочу — чтобы — ты — стала — моей — женой»... Она останавливается перед дверью, не решаясь вставить ключ в замок. Ей хочется повернуть обратно, на носках сбежать с лестницы, сбежать из этого дома, из жизни этого Павлика. Сбежать, скрыться, смыться. Совсем. Без объяснений, без истерик. Но он все равно узнает. Ей все равно придется сказать ему— Не сегодня, только не сегодня. Она счастлива, от счастья у нее нет ни храбрости, ни жестокости. Она слаба, подла и труслива от счастья. Только это еще не та стадия счастья — жестокая, безрассудная, воинственная, когда «только я, а до остальных мне дела нет». Это еще жалость, доброта, щедрость: «пусть все будут счастливы, как я».

Она входит в прихожую. В спальне Павлик лежит в кровати и читает книгу. «Люка, я уже беспокоился. Слава Богу». Славить Бога ему сейчас не за что, ведь он еще не знает, что Бог отступился от него. «Да, Павлик, очень поздно». Он рассказывает, как провел вечер. Встретил товарища, вместе пообедали. «Ты была такая милая сегодня, я даже почти не скучал, — он улыбается. — Уж когда ты милая, так ты милая, Люка». «Уж когда ты милая...» — фраза из их прежней, докинематографической, дотьериийской жизни. Значит, он действительно очень доволен. «Я все время думала, как мы, Павлик, поедем на Ривьеру». Глаза его немного щурятся, вокруг них собираются тонкие морщинки. Должно быть, он сейчас видит этими прищуренными глазами солнце, голубое небо, голубое море и ее, Люку, в голубом платье. «Отчего ты не ложишься?» — спрашивает он. Отчего? Оттого, что, как всегда, возвращаясь от Тьери, ей стыдно, ей мучительно раздеваться при муже. Она боится — платье неправильно застегнуто, рубашка надета наизнанку, на плече красное пятно от поцелуя. Всего этого конечно нет, но она плотнее запахивает накидку. «Сейчас, сейчас, Павлик». Она протягивает руку, тушит свет и в темноте торопливо сбрасывает с себя накидку, платье, белье, чулки. Прямо на пол. Мех влажный, и платье помнется. Ах, все равно, не до меха, не до тряпок. Она быстро ложится в кровать к мужу, она обнимает его. «Мне холодно», — жалуется она. Ей совсем не холодно, ей скорее жарко от волнения, от жалости, от доброты. Но он должен быть счастлив непременно. Она целует его, она смеется... Она никогда не поедет с ним на Ривьеру. Но пусть он будет счастлив сегодня.

— Ты разве не хочешь спать, Люка? Ты разве не устала?

— Нет, нет, — волна великодушия, жертвенности, жалости захлестывает, поднимает, уносит ее. — Нет, я всю дорогу думала о тебе...

Пусть только он будет счастлив.

— Какая ты нежная, милая. Ты давно не была такой.

— Да, очень давно. В первый год после свадьбы, в первые полгода, когда она еще надеялась, что может полюбить Павлика за то, что он такой добрый.

— Люка, отчего ты такая сегодня?

— Оттого, что я хочу, чтобы ты был счастлив, — говорит она, и слезы текут по ее щекам, но темно, и он не видит.

Он наконец засыпает, все еще держа Люку за плечо. Его спящая рука тяжело лежит на ней, ей кажется, что она лежит не на плече, а на ее сердце, и сердце сжимается и болит. Как сказать ему? Как? Все равно завтра или через неделю придется сказать ему. Для него это будет горем. Да, это она знает. Таким горем, что она даже не уверена, переживет ли он его. Она морщится в темноте — как мучительно, как несправедливо, как беспомощно он любит ее. Зачем, кому это нужно? Другого выхода нет. Он спит спокойно, доверчиво, его рука благодарно лежит на ее плече. И она, как убийца, сторожит его. Как убийца, хуже убийцы. Если бы она убила его, все было бы кончено сразу, он бы не узнал. У нее хватило бы храбрости убить его? Она вспоминает пьесу — они видели ее вместе. Жена, чтобы не бросать, не огорчать мужа, отравляет его понемногу. Да, она тоже могла бы отравить, убить Павлика — подливать ему яд в чай, понемногу, с выдержкой... Она держали бы его за руку, она закрыла бы ему глаза. У нее хватило бы силы, хватило бы храбрости. Преступление? Нет, это скорее подвиг. Он умер бы счастливый. Атак? В пьесе все открывается, и жена отравляется сама. Но ей ни на минуту не приходит в голову умереть, ведь она нужна Тьери. Она готова для Павлика почти на все, даже на преступление, но никакого выбора между Тьери и Павликом быть не может. В сравнении с Тьери Павлик просто не существует. Ничего придумать нельзя. Одной храбрости, одной жалости мало. Она должна будет сказать ему. Полоски в ставнях понемногу светлеют, и вещи снова возникают из темноты со всей отвратительной жестокостью жизни.

За стеной, в столовой, прислуга уже чистит ковер. Скрип щетки, как вздох, врывается в мысли Люки. Кажется, что это она, Люка, вздыхает. Оттого, что ночь прошла, оттого, что она не спала ни минуты, что она чувствует себя разбитой на куски, бессердечной, жестокой, несчастной, подлой. Она громко вздыхает, и в столовой сразу становится тихо. Будто робкие вздохи щетки все сразу воплотились в громкий вздох Люки и щетка замолчала.

— Вы сказали мужу?

Она качает головой:

— Я не могла еще.

Они при других на «вы». Они стоят в студии. Их могут услышать. Она краснеет.

— Когда же? — спрашивает он раздраженно.

Она видит, что он сердится. Ее сердце начинает стучать. Она почти забыла о бессонной ночи, о жалости, о Павлике.

— Послезавтра, — отвечает она тихо.

Он недовольно пожимает плечами, и она поправляется.

— Завтра.

Она работает в студии до вечера, ей больше не удается поговорить с Тьери. Завтра праздник. В праздник она уйдет от Павлика.

Тьери привозит ее из студии. Он уезжает на сутки к знакомым. Нет, он не собирался. Он хотел провести этот день с Люкой, но раз она еще ничего не сказала мужу... У него обиженный вид, будто она очень виновата перед ним. Он довольно ждал, довольно терпел. Он больше не намерен делить ее с мужем. Он теряет, распыляет свою удачу, отпуская ее к мужу. Этот муж обкрадывает его. По какому праву? Люка молчит. Она не знает, что ответить ему.

— Даю тебе лишний день, но послезавтра, в шесть, ты непременно должна быть у меня.

Она кивает — непременно. Ей грустно, что он уезжает, она не смеет попросить его остаться. Она берет с сиденья автомобиля его серую перчатку и молча гладит ее. Перчатка мягкая, пушистая, как лесной мох. Ей кажется, что перчатка прижимается к ее ладони. Она незаметно прячет ее в карман пальто, чтобы не быть такой одинокой завтра...

— До свиданья, — сухо говорит он, останавливая автомобиль у ее дома. — Но если ты послезавтра не переедешь ко мне со своими вещами...

— Я буду у тебя в шесть, — перебивает она. — Пожалуйста, не сердись.

Он улыбается своей электрической улыбкой.

— Веселись. До послезавтра.

И он уезжает, даже не оглянувшись. Она стоит на тротуаре, сжимая его перчатку в руке.

Павлик уже дома, но он не ждал, не надеялся, что она вернется так рано. Он снимает с нее пальто. Она садится в кресло тут же, в прихожей, все еще держа перчатку в руках.

— Я очень устала, — жалуется она.

И он виновато извиняется.

— Это я утомил тебя ночью.

— Ах, нет, Павлик, целый день в студии, — ей вдруг становится стыдно. Он еще извиняется. — Павлик, завтра праздник, и мы целый день будем вместе.

Ее голос срывается от грусти. Это ведь их последний день. И завтра она не увидит Тьери — ей очень грустно. Но Павлик бурно радуется. Целый день вместе! Он берет ее на руки, относит на диван, кладет ей под голову подушку.

— Тебе удобно, Люка? Тебе хорошо?

Нет, ей совсем не хорошо, совсем не удобно, но она кивает: «Очень».

Тьери уехал, от него осталась только эта мягкая перчатка.

— Посмотри, Павлик. Я нашла на улице у подъезда.

Он внимательно разглядывает перчатку.

— Кожа замечательно мягкая, дорогая должно быть.

— Да, очень дорогая.

Он хочет примерить перчатку, но Люка отнимает ее:

— Не надевай, неизвестно, кто носил, — и она прячет ее под подушку. Ей кажется, что она говорила не о перчатке, а о Тьери, от этого становится легче. — Я сейчас отдохну, только немножко полежу, и пойдем куда хочешь.

Но в этот вечерь больше никуда не идут. Люка засыпает и спит долго. Когда она открывает глаза, муж сидит перед ней и с непонятным выражением старческого умиления и детского любопытства смотрит на нее.

— Больше всего я люблю, когда ты дома, Люка. И когда ты спишь.

Она смеется. Он старается объяснить:

— Ты дома, и ты никуда не спешишь.

Люка выспалась, она нежная и добрая. Жалость, как кошка, снова мурлычет у нее в груди. Пусть нечаянно, но она уже доставила мужу удовольствие своим сном. И весь завтрашний день должен быть праздником, и сегодняшний вечер тоже.

— Что же мы будем есть?

Они идут на кухню, шарят по полкам.

— Какие мы богатые, сколько запасов, — удивляется она, — а я и не знала.

Она отворачивается к плите, чтобы не видеть его счастливого лица. Они вместе жарят яичницу, открывают консервы, накрывают на стол.

— Гораздо вкуснее, чем в ресторане, — уверяет Люка, хотя ей не вкусно и не хочется есть.

— Дома лучше всего, — соглашается он. — Я хотел бы целую неделю не выходить с тобой из дома.

Не надо даже стараться, он и так весел, он и так рад. Очень легко, слишком легко сделать его довольным. И все-таки она изо всех сил старается, поет ему песенку про сороку, говорит с ним на полудетском, выдуманном, их собственном языке, как они говорили в первые месяцы общей жизни. Это было ее второе детство, начавшееся с дня их свадьбы. Тогда же он подарил ей плюшевого медведя. Без этого медведя она никогда не ложилась, он всегда спал рядом с ней, положив голову на подушку. Даже теперь. Впрочем, теперь его укладывал Павлик, и она чаще всего не замечала медведя, как не замечала и мужа. Но сейчас они сидят всей семьей — муж, она и медведь Тролль — и разговаривают на собственном языке, совсем как когда-то.

— Ты знаешь, мне кажется, что сегодня Рождество. Когда мне очень хорошо, мне всегда кажется, что Рождество и сейчас зажгут елку.

Люка кивает.

— Да, конечно, но елки еще нет. Тролль ночью сбегает в лес и принесет елку.

Он с благодарностью входит в детский, сказочный разговор.

— Ты, Люка, попроси во сне у зайцев золотых орехов, пусть не скупятся.

— Да, но как их вынести из сна? На границе таможенники все отнимают. Но я попробую, только для этого надо скорее лечь.

Павлик стягивает с нее чулки.

— Больше всего я люблю кормить тебя, купать, укладывать спать. Я хотел бы, чтобы ты была не моей женой, а дочкой.

Она вздыхает. Да, этого и она хотела бы. Но она рассудительно говорит:

— В двенадцать лет никто не имеет детей.

— Я мог быть на три года старше, ты на три года моложе, вот все и устроилось бы.

Да, все устроилось бы. И теперь он, ее отец, радовался бы, что она делает блестящую партию. Ведь Тьери, кроме всего, еще и «блестящая партия».

На следующий день они просыпаются поздно. Торопиться некуда — праздник, их последний праздник, последний день их жизни. Прислуга открывает ставни, в окнах праздничное голубое небо.

— Если везет, то во всем везет, — говорит муж, и Люке кажется, что он смеется над ней. Ей так грустно, так тяжело, она хотела бы пролежать весь этот последний день, покрывшись с головой одеялом. Но этот день принадлежит Павлику, и она должна сделать из него праздник.

— Давай одеваться на пари — кто быстрее. Раз, два.

И она выскакивает из кровати. Она спешит, она смеется, чтобы скрыть свою грусть. Такой шумной, такой утомительно веселой она никогда не бывает. Неужели он не видит, что она притворяется? Нет, он ничего не видит.

После завтрака они едут в Версаль смотреть фонтаны втроем с Троллем. Она старательно правит, она молчит. На дороге столько машин, что можно молчать. Он сам советует: «Не болтай, будь внимательна». Ведь она так недавно научилась править. Они оставляют автомобиль у ворот парка.

— Смотри, чтобы вас не украли, — говорит она медведю и, запирая дверцу автомобиля, подмигивает мужу, — пусть Тролль думает, что он сторожит.

Только бы Павлик не начал говорить о своей любви, об их будущем. Но он берет ее под руку, он шагает с ней нога в ногу, он говорит о фонтанах, о деревьях, о том, что тепло, как летом, и что праздник удался на славу. На славу... Такая давка, такая тоска! Сколько смеющихся вульгарных лиц, крикливых детей, уродливых шляп. И даже фонтаны противны. Тем, что слишком чисты и строги, тем, что прекрасны. Нет, она больше не может топтаться в толпе.

— Уедем, Павлик, — просит она.

И он, хотя ему здесь очень нравится, сейчас же соглашается.

Они снова в машине. И едут по темнеющей дороге. Вот незнакомый маленький город.

— Хочешь, пообедаем здесь. Осмотрим сначала собор? — предлагает он.

— Нет, что ты? — пугается она. Она чувствует себя какой-то безгрешной грешницей, виноватой без вины. Трудно разобраться, но лучше не ходить в церковь. На площади перед рестораном ярмарка.

— Как хорошо, ты ведь любишь ярмарку, Люка.

Что сейчас делает Тьери? Но о Тьери нельзя думать. Каждая мысль, каждая минута принадлежит Павлику. Последний день. И уже восемь часов. И день почти кончен. Она пьет вино, она смеется:

— Мне так весело, Павлик.

— Когда мы поедем в Ниццу, — начинает он, но о будущем она не может слышать.

Как хорошо тут, Павлик. А помнишь, в Бордо...

Пусть уж лучше вспоминает, это не так больно. Она открывает ему дорогу воспоминаний, и он, как с горы, катится по ней. Помнишь? За три года их жизни накопилось столько, чего помнить не стоило, но что он запомнил, как исторические даты.

Она смотрит в его лицо. Лампочка на столе освещает его снизу, и она снова видит на его лице поразившее ее вчера выражение. И вдруг она узнает его. Она уже видела его. Она видела его в зеркале на своем собственном лице. Видела, стоя рядом с Тьери против зеркала. Та же смесь восторга, и грусти, и страха. Та же робкая, рабская, заячья улыбка. Но неужели Павлик любит ее так сильно, как она — Тьери? Сердце снова сжимается. А он говорит:

— Знаешь, Люка, я думал, ты никогда не будешь со мной такой, как сейчас. Я думал, это уже кончено. И я так счастлив.

Вот сейчас, если бы у нее был яд... Да, совершенно спокойно, без угрызений, без колебаний. Она берет его стакан, наливает ему вино. Также она налила бы ему яду. Из милосердия, чтобы спасти его. Она чокается с ним.

— Выпей, Павлик, все, до дна.

Она пьет. Но ведь это вино, это не яд. Как жаль, что она не может помочь ему ничем. Даже сейчас. Ей вдруг становится стыдно. Она ошиблась. Так не только не лучше, так еще хуже, еще более жестоко. Но теперь надо продолжать — праздник еще не кончен, праздник должен кончиться празднично.

Они возвращаются домой. Праздник продолжается: ее веселость переходит в нежность, нежность трудно отличить от влюбленности. Да, ему может казаться, что она опять влюбилась в него.

Домой они приезжают усталые, немного пьяные. Она не заснет первая. Пусть праздник продолжается, сколько захочет Павлик. Завтра все равно настанет слишком рано.

Она ложится. «Потуши свет», — говорит она. Она обнимает его, она тайком вытирает мокрые от слез щеки. Только бы он не заметил. Но он ничего не замечает, он счастлив. Она не может сдержать вздоха, но он не удивляется, он думает, что это от счастья. Она прижимается к нему с безнадежною нежностью, она цепляется за него, будто ее хотят оторвать от него. Так обнимаются на тонущем корабле, так прощаются с приговоренным. Но он ничего не замечает. Он говорит в темноте над самым ее ухом:

— Я так счастлив, что хотел бы умереть.

— Павлик, — вскрикивает она, — Павлик!

Сейчас она все скажет ему. Она не может больше молчать... Нет, лучше потом, завтра... Горе и так всегда приходит слишком рано. Пусть он будет счастлив эту последнюю ночь.

Люка открывает глаза и сразу вспоминает все. Не когда-нибудь, не где-нибудь, не завтра, а здесь и сейчас она скажет мужу. Нельзя ни откладывать, ни прятаться за жалость. Она поворачивает голову: «Павлик!» Но постель пуста, он уже в ванной. «Павлик!» — громко зовет она. Дверь отворяется, входит горничная.

— Павел Николаевич не велел вас будить, — объясняет она.

— Как? Ушел?

— Павел Николаевич просил вам передать, что не будет завтракать и вернется к семи.

— К семи? Что же теперь делать?

Он уехал, а в шесть она должна быть у Тьери. Она снова опускает голову на подушку и закрывает глаза. Из закрытых глаз текут слезы. Она даже не вытирает их — ей все равно, пусть прислуга видит. Объяснения не будет.

— Который час?

— Четверть первого.

Надо одеваться, укладываться.

— Принесите, пожалуйста, чемодан.

Она плачет. Она, плача, открывает шкаф, бросает платья и белье на диван. Все эти тряпки, казавшиеся ей когда-то необходимыми... А теперь она оставит их здесь, все, кроме новых, купленных на собственные шалые деньги, и белого платья, в котором она встретилась с Тьери.

Прислуга упаковывает чемодан.

— Вы надолго уезжаете, Людмила Алексеевна?

Она кивает — слезы все еще текут по ее лицу и мешают говорить.

— Павел Николаевича будет очень скучать.

— Это пальто возьмите себе и шляпу тоже, — Люка вытирает глаза. — И вообще все, что вам подойдет.

Горничная благодарит ее почти испуганно, безо всякой радости. Люка обходит квартиру. Вот тут она жила три года. Ей совсем не жалко уезжать, она ни к чему не привязана здесь, и ничто, она это ясно чувствует, не привязано к ней. Ни кресло, ни стол, ни диван. И стены не любят ее, и ковер рад, что она больше не будет топтать его. Зеркала, и те враждебные, туманные, холодные. И какой жалкой, какой некрасивой, с красными глазами отражают они ее. Будто назло в последний раз. Они все на стороне Павлика, они его друзья и прислуга тоже. И они, конечно, правы. Против нее, за Павлика. Ведь она сама за Павлика, против себя. Но что же ей делать? Что делать? Поскорее уйти отсюда. Другого ответа нет. «Прощайте, — говорит она и гладит стулья, трогает занавески на окнах. — Мы все-таки жили так долго вместе, и за то спасибо». Прощай, прощай — звенит в воздухе. Солнечный столб полосой перечеркивает комнату, перечеркивает прошлое. В нем, в этом пыльном свете светится и трепещет вся боль расставания. Пора, пора.

Она идет в спальню, берет медведя с кровати и сажает его на шляпную коробку. «Ты поедешь со мной». Прислуга уже уложила вещи. Она стоит грустная над чемоданом, опершись головой на руку в классической бабьей позе. Весь парижский лоск сразу сошел с нее от горя.

— Барыня... — не Людмила Алексеевна, по имени-отчеству, как всегда называла, и это приниженное, жалобное «барыня» звучит, как мольба. Она смотрит на нее мигающими, понимающими бабьими глазами — Неужели вы совсем, барыня?..

Люка обрывает ее:

— Снесите вещи в автомобиль.

Надо еще написать Павлику. Сколько раз она мысленно повторяла объяснение с ним, а теперь надо писать. Но что можно сказать в письме?

«Прости меня, Павлик. Я не могу иначе». Так, кажется, пишут самоубийцы, значит подходит. Она задумывается. Слезы падают на бумагу, чернила расплываются. Все равно. «Я была тебе плохой женой. Ты всегда был слишком добр. Спасибо тебе. Прости меня».

Но разве дело в прощении и в ней? Дело в нем, чтобы он пережил, чтобы он не был слишком несчастным, если переживет. Но как это напишешь? «Я оставляю тебе Тролля. Береги его». «Береги» — это значит живи для плюшевого медведя. Медведь, может быть, хоть немного утешит его. Ей утешения не надо, ведь она будет счастлива. Она открывает чемодан, достает уже уложенного с платьями медведя, целует его в мягкую, пахнущую ванилью морду, усаживает на стол рядом с письмом.

— Береги Павлика. Прощай, Тролль.

Она надевает дорожное пальто и, сутулясь от тоски, тихо выходит в прихожую. Вот сейчас она перешагнет порог своего дома в последний раз. Она останавливается. Она когда-то уже видела все это — и раскрытый шкаф, и груду платьев на постели, и себя, уходящую из дому. Она видела все это год назад и только забыла тогда. Она сидела у окна и читала книгу. Ей не было ни весело, ни грустно, только немного скучно привычной, уютной скукой. Она сидела в сумерках у окна и читала. Спальня была убрана, все было в порядке — уборщица только что ушла. Дверь в прихожую осталась открытой. День был совсем обыкновенный, и книга была совсем обыкновенной. Люка долго читала, потом равнодушно подняла голову и вдруг увидела, да, ясно увидела неприбранную постель, разбросанные платья, чемодан на полу и себя, плачущую, уходящую... С этим самым несчастным жалким лицом, в этом самом незнакомом дорожном пальто. И совсем как сейчас она остановилась, беспомощно оглянулась, открыла входную дверь и вышла. Но тогда дверь не хлопнула, тогда была тишина.

Люка спускается по лестнице. Когда Павлик будет спускаться по этой лестнице, он уже будет знать.

Тьери спит с широко открытыми окнами. Он так привык, и Люка не спорит, хотя привыкла спать в темной, теплой спальне. Она просыпается утром от света, холода и счастья. Конечно, больше от счастья, чем от холода и света, но в комнате все-таки очень светло, очень холодно. Она просыпается и видит рядом на подушке черную голову Тьери. За ночь его волосы, так гладко причесанные днем, закручиваются волнами аккуратно и правильно, будто их завивал парикмахер. Люка смотрит на него прищурясь, как смотрят на солнце, и снова закрывает глаза. Она лежит с закрытыми глазами. Она вспоминает, переживает все. Она помнит каждый день, каждый час во всех мелочах, во всех подробностях. Не только все, что они делали, что говорили, что она чувствовала, думала, но и какое было небо, который был час, было ли холодно или тепло, какой на Тьери был галстук.

Весь окружающий мир, которого она почти не замечала в томительные месяцы влюбленности, снова стал теперь как фон участвовать в ее счастье. Это была полнота жизни, — погода, природа, вещи, люди, — всё и все участвовали в ней. Каждая мелочь, каждая подробность имела свое особое значение, еще увеличивающее, углубляющее счастье. Это уже не было мучительное, тревожное, изводящее ощущение жизни, это была гармония счастья и жизни. Любовь ко всему миру, как тепло, исходящее из ее рук, любовь мира к ней, как свет, ложившийся на ее сердце. Любовь, дружба, родство со всем миром, всеми людьми, животными, вещами. Особенная нужная внимательность. Она брала предметы, как будто гладила их. Улыбалась людям, как будто желала им удачи или утешала их.

Она еще не привыкла к счастью за эти два месяца. Тьери тут, рядом с ней. Стоит протянуть руку, и она дотронется до него, до его теплой щеки. Он всегда, всегда рядом, он крепко обнимает ее во сне, и ей неудобно, но она не смеет пошевелиться, ноги ее затекают, боль заставляет ее помнить, что он здесь, рядом. Никогда не надо прощаться с ним, даже на час. Ей не приходится говорить «до свидания». Они вместе спят, вместе едут в студию, проводят вместе вечера.

Он берет ее с собой даже в контору. Она сидит рядом с ним, когда он пишет, когда он ведет переговоры. Цепь, связывающая влюбленных, как каторжан, нисколько не тяготит его. Напротив, он старается еще укоротить ее так, чтобы нельзя было сделать шага друг без друга.

Люка боязливо следит за ним — не утомляет ли она его, не хочет ли он побыть один. Нет, стоит ей выйти из комнаты, как он зовет ее. Он хочет быть с ней всегда и как можно больше, как можно ближе.

— Оттого что ты приносишь мне удачу, — объясняет он, — с тобой во всем везет. Вот кончим крутить, поедем в Монте-Карло, и я сорву банк. С тобой везет, — повторяет он по десять раз в день. — Без тебя я боялся, что картина провалится, но теперь я уверен в успехе. Я совсем спокоен, — он гладит ее волосы, закладывает их ей за уши. — Знаешь, мне было очень тяжело без тебя. Я только теперь это хорошенько понял. Я никого никогда не любил. Только энергия и честолюбие.

Прежде Тьери говорил мало. Короткими отрывочными фразами. И всегда не о себе. О ней, о работе в студии, о еде, о езде. Всегда о постороннем, о внешнем. Тогда и она была для него посторонней. А теперь он говорит часами «обо мне», о «нас», с трудом объясняя с непривычки, не находя нужных слов, нужных мыслей, путаясь и смущаясь. Но она все понимает. Она слушает, и слова его легко и плавно навсегда входят в ее память.

— Я как будто вовсе не существовал, — она вздрагивает. — Не существовал.

Ведь и ей иногда казалось это. И опять он говорит, объясняет ей:

— Я всегда знал, что для того, чтобы жить, надо любить. И я начинаю любить тебя, — он смотрит ей в глаза, он гладит ее лоб, ее щеки. — Ты такая молодая, такая настоящая, не выдуманная. Знаешь, я всегда сознаю смертность людей, даже молодых и очень здоровых. Я думаю: а ведь он умрет, и эта его будущая смерть, как тень, ложится на него, и вот человек уже как будто не весь, а калека, будто он потерял ногу или руку, и я уже не могу им любоваться. Эта его будущая смерть, как уродство, проступает сквозь молодость, красоту, здоровье. Но ты... Я не могу, как ни стараюсь, вообразить себе, что ты умрешь. Я не могу даже представить себе тебя больной. Ты болела когда-нибудь?

Она качает головой:

— Нет, не помню. Кажется, никогда.

Его рука сжимает ее плечо:

— Знаешь, я не верю даже, что кто-нибудь, кто связан с тобой, может умереть.

Его лицо бледнеет, его светлые, светящиеся глаза гаснут, нижняя губа слегка отвисает.

— Тьери, — зовет она громко, будто он уснул, будто он ушел, будто он не рядом с ней. Но его рука нежно и крепко сжимает ее шею.

— Я никогда никому не говорил этого. Но тебе я все могу сказать. Ты не только моя удача, — говорит он совсем тихо, будто доверяя ей тайну, — ты моя жизнь, ты моя защита от смерти. С тобой мне не страшно.

Да, она необходима ему, он держится за нее. Она говорит: «Мы никогда не расстанемся». Она счастлива. Она не боится даже, что ему перестанет «везти» с ней. Раз он верит, что она приносит ему удачу, значит она действительно приносит удачу. Она так счастлива, что не может не приносить счастья.

— Только люби меня, — повторяет она и каждый вечер рассказывает о своей любви, как о чем-то постороннем. — Знаешь, она еще немного выросла, скоро я буду совсем по-настоящему любить тебя. Больше себя. А женщины? — ведь у него было так много женщин. Ей рассказывали.

— Какие женщины? — он не помнит ни об одной из них. — Только избыток энергии и честолюбие, борьба и победа, — объясняет он, и она не смеет настаивать, расспрашивать.

Тьери просыпается. Он проводит рукой по волосам, и вот он уже причесан. Он приподнимается, светлые блестящие глаза смотрят в глаза Люке: «Я чудно выспался». Нельзя поверить, что минуту тому назад он еще спал. Ничего мятого, заспанного, ленивого. Он откидывает одеяло, и вот он уже стоит в своей белой шелковой разутюженной пижаме — ни складочки, ни морщинки — веселый, бодрый, как после душа. Так просыпаются, так встают на сцене, а не в жизни.

Тьерри смеется отрывистым, резким смехом. Прежде она не слышала, как он смеется. Ей не нравится его смех, но, раз он смеется, значит ему весело. И она отвечает на его смех широким, легким, неестественным смехом. Ей совсем не хочется смеяться, ей никогда не хочется смеяться теперь. Она часто улыбается. Ей иногда хочется плакать не от грусти, а от волнения, оттого, что нельзя вынести такого счастья, не заплакав. Но смеяться ей никогда не хочется, и ничто не кажется ей смешным. Смешного, как мелкого, безобразного, скучного, она просто не замечает теперь. Оно не доходит до ее сознания.

Они идут в ванную вместе. Люка садится на плетеное кресло и смотрит на Тьери. Он сбрасывает белую шелковую куртку, он бреется. Мыльная пена покрывает его щеки и подбородок, как седая борода. Он будет старый, седой, с белой бородой, и они все еще будут вместе, будут так же любить друг друга. Ей, которая так ценит каждую минуту их жизни, вдруг страстно хочется, чтобы эта жизнь, эта молодость уже прошла, чтобы они были старые и огромная часть жизни и счастья была бы позади. Она смотрит на его крепкую шею, на его сильные руки, на его мускулистую спину. Он уже побрился и стер пену с лица. Нет, нет, пусть он будет молодым, как можно дольше молодым. Тьери открывает кран, становится под душ. Душ, как дождь. Она вспоминает звериное наслаждение от дождя в ту первую ночь, когда он сказал: «Ты должна быть моей женой». Она встает, она подходит к нему и сквозь дождь душа целует его плечо.

Они вместе одеваются, вместе пьют кофе, вместе выходят из дому. Металлический зеркальный лифт стремительно уносит их вниз. Ее взволнованное, взвинченное, переполненное сознание камнем падает в пролет лифта. Но мягкая уверенность, как сетка, подхватывает его. Нет, совсем не страшно уходить. Сегодня вечером они снова вернутся сюда обратно, и ничто не может помешать этому.

День проходит в студии, в работе, в суете. Но ведь Тьери здесь, рядом. Она видит, она слышит его. И скоро все это кончится, и они поедут домой. Скоро, сейчас, уже кончилось. Они едут по бульварам в его автомобиле. Она прижимается к его плечу. Он устал, не надо говорить. И о чем говорить? Разве и так не все понятно?

Они снова поднимаются в лифте. И лифт, как друг, жужжит: «А что я говорил? Ведь вернулись». И теперь уже до утра. День прошел. Они одни. Ничего уже не случится до утра, кроме радости. На письменном столе большая ваза с белыми тюльпанами — цветами, которые любит Тьери. Люка задергивает шторы. Уже темно, уже вечер, а когда шторы задернуты, совсем похоже на ночь. Люка просит: «Пожалуйста, не пойдем никуда, будем обедать дома», и Тьери, хотя он этого и не любит, соглашается: «Только закажи обед повкуснее». Она звонит в ресторан, долго составляет меню. Тьери конечно, совершенно безразлично, что есть. Это она знает давно. Но он почему-то притворяется гастрономом. Это входит в программу его поведения — интересоваться и говорить о еде, даже о приготовлении некоторых блюд, об автомобилях, о скачках, никогда не бывать в Опере, не читать ни одной книги, делать вид, что любит живопись.

Лакей затапливает камин. Хотя в комнате и тепло, но Тьери любит смотреть в огонь. Люка с наслаждением переодевается юнгой — ведь это значит, что она дома, что больше никуда идти не надо. «Я хотела бы неделю не выходить из дому», — кричит она Тьери из ванной. Где она слышала эту самую фразу? Ах да, это говорил Павлик в их предпоследний день. Но о Павлике вспоминать нельзя. Ему, как всему грустному, неприятному, нет места в ее жизни, в ее памяти. Потом, когда-нибудь, не сейчас, она вспомнит, она разберется в воспоминаниях. Она пожалеет Павлика.

Она вбегает в кабинет. Тьери сидит в кресле, протянув длинные ноги к огню. Она садится на ковер у его ног.

— Как у нас хорошо, Тьери.

— Очень, — говорит он с отсутствующим лицом и через минуту улыбается своей светящейся улыбкой. Это от усталости. Она знает, что, когда он устанет или волнуется, выражение его лица не совпадает с его словами, слова спешат, лицо опаздывает. Люка нежно кладет руку на его колено:

— Ты устал, Тьери.

И он, все еще сияя улыбкой, отвечает:

— Да. Очень. За два года ни дня отдыха, — улыбка гаснет, и он продолжает: — Как я рад, что конец фильма будем крутить в Венеции. Мы останемся там на две недели и отдохнем.

Лицо его устало и грустно, но это выражение усталости относится к его прежней фразе «За два года ни дня отдыха», и, замолчав, он снова улыбается. Запоздавшая улыбка в честь Венеции.

Венеция. В счастливой жизни Люки, где все так хорошо, что даже мечтать не о чем, Венеция все-таки сияющая цель, к которой все-таки летят желания. Оттого, что она с детства знала, что в Венеции нельзя не быть счастливой (свадебное путешествие ее матери, преувеличенно романтические восторги и воспоминания), оттого главное, что в Венеции, когда будет окончена картина, они останутся еще одни на целых две недели, а потом на автомобиле, не торопясь, вернутся домой.

Они обедают, и Тьери доволен. От вина, от усталости, от камина счастье еще увеличивается, заполняет и вытесняет все другие мысли, все чувства. Люке кажется, что, если бы сейчас она упала и разбила себе колено или порезала руку, она даже не почувствовала бы. Она ничего не может чувствовать, кроме счастья. Ничего вообще нет, кроме счастья. И ее, Люки, тоже нет. Ее место заняло счастье. Она смотрит на себя в зеркало. Это у счастья такие завитые светлые волосы, и светлые прозрачные глаза, и накрашенные губы. Оно, кажется, немного пьяное, это счастье? Но это ему ничуть не мешает слышать все, что говорит Тьери.

— Я хочу иметь сына, — говорит Тьери. — Я сегодня весь день думал об этом. Я хочу иметь сына от тебя. Я никогда не мог подумать ни об одной женщине как о матери моего сына — для этого они все не годились. Но ты именно такая, именно та.

Сына? Люка всегда больше всего на свете боялась ребенка. Больше тифа, больше бедности, больше пожара. Но он говорит о своем желании иметь сына, и она слушает.

— Ты понимаешь, это утверждение и продолжение себя — бессмертие.

Нет, она не понимает — ей не надо утверждать себя через ребенка, это уже сделано счастьем, и бессмертие уже тоже достигнуто счастьем. Но она не спорит с Тьери. Она слушает.

— Я хочу, чтобы мой сын был очень похож на меня, но чтобы он был такой же живой и настоящий, как ты, чтобы у него была твоя веселость и твоя удача.

От жары один из белых лепестков тюльпана отрывается и падает на скатерть. Он падает с легким шорохом утверждения, будто ответ: «Да. Да, она согласна». Она смотрит на оторвавшийся белый лепесток и чувствует, что она не только согласна, что она давно сама желала этого. Она встает, она молча подходит к Тьери и видит — глаза Тьери сияют совсем особым, слепым, стеклянным блеском, оттого что в них стоят слезы.

Теперь они лежат на диване и она, закинув голову, смотрит вверх, как смотрят в небо, в его голубые глаза. Мучительное ожидание блаженства, которое трудно вынести, тоски, которой нельзя вынести, уже сдавливает ее сердце. Вот сейчас, сейчас. Блаженство, как огонь, обжигает ее лицо. Она кричит, но крик ее, начавшийся высоко на восторге, чтобы сорваться в тоску, обрывается. Они лежат на диване, тесно обнявшись. Впервые обнявшись и вместе, а не каждый сам по себе, как всегда «после». Тьери не сам по себе отчужденный, почти враждебный, как всегда «после». Пусть только одну минуту — враждебный, пока не закурит папиросу, пока не посмотрит на часы, пока, вздохнув, удобнее не уляжется рядом. Пусть только одну минуту — но такой враждебный, чужой. И эта отчужденность, эта враждебность, это одиночество — всегда расплата. Но сейчас расплаты нет. Блаженство продолжается. Оно уже не может кончиться криком, спазмой. Оно требует продолжения, того, что сильнее этого блаженства, того, для чего оно только средство. Ее тело напряженно, жадно, нетерпеливо требует тяжести, ждет уродства, просит боли. Тяжести, уродства, боли — всего, что она так боялась, — материнства.

Она поднимает голову и губами касается его теплой руки, и ей кажется, что она целует не его, а свою руку, что граница между ним и ею исчезла.

Тьери наклоняется над ней так низко, что она уже не видит его глаз.

— Как будто в первый раз, — тихо говорит он и целует ее в шею, около уха. Он кладет голову на ее плечо, она чувствуете его теплое дыхание. «Как будто в первый раз». Да, в первый раз. Она никогда еще не слышала этого магического, преображающего мир сочетания слов, сказанных изменившимся, тихим голосом Тьери: «Как будто в первый раз».

И мир действительно преображается, становится воздушным, тихим и нежным. Главное — нежным, нежным, нежным. Она тонет, тает, растворяется в этой нежности.

— Тьери, — вздыхает она, зовя его на помощь, но ответа нет. Она приподнимается на локте, чтобы посмотреть на него. Он лежит с закрытыми глазами. Он улыбается. Чуть-чуть. Не своей обычной электрической улыбкой — сиянием зубов и глаз, а притушенно, одними уголками губ, почти грустно. Почти грустно и совсем счастливо. Таким грустным, нежным и тихим она еще никогда не видела его. Он открывает глаза и, потянувшись к ней, целует ее в щеку легко, безо всякой страсти и настойчивости, как целуют дети.

— Теперь я люблю тебя совсем, — говорит он шепотом, будто доверяя ей тайну.

Она протягивает руку и тушит лампу, чтобы слышать его голос в нежной темноте вдруг наступившей нежной ночи.

— Теперь совсем, — он доверчиво прижимается к ней. — Теперь мы с тобой одно. Ты — это я, и я — это ты.

Люка вздрагивает. Неужели это он говорит, а не она? Ведь она только что думала то же самое. И значит, это правда. Они действительно одно и то же. Она молча гладит его волосы, вьющиеся, мягкие, как у ребенка. Да, он сейчас напоминает ей ребенка, такой доверчивый, теплый, откровенный.

— Расскажи, какой ты был маленький, — просит она.

И он не удивлен. Он как будто ждал этой просьбы, сам хотел рассказать о своем детстве. Она раньше не смела спросить, но это именно то, о чем они должны поговорить. Ведь все начинается с детства, и так трудно вырасти из него, отделаться, вылечиться от него.

— Ты был счастливым мальчиком?

Но он молчит, значит он не был счастливым. Она спрашивает прерывающимся от жалости голосом:

— Неужели ты в детстве был несчастным?

— Нет, я не был несчастен. Если бы несчастье. Но было хуже, гораздо хуже.

Он останавливается. Он вздыхает, она чувствует его вздох на своей щеке.

— Я еще никогда никому не говорил, как плохо мне было в детстве. Знаешь, я стыдился. Стыдился своего отца. Он был парикмахер.

— Но что же тут стыдного? — не понимает Люка.

— Да, парикмахер, — объясняет Тьери. — Такой типичный, с завитым коком и гребешком за ухом. С отвратительной профессиональной красивостью и любезностью. Добродушный, надушенный, веселый. Я его ненавидел. Я мог бы его зарезать его же собственной бритвой. У него была большая дамская и мужская парикмахерская. Он был состоятельный, уважаемый человек. Учителя в школе говорили мне: «Кланяйтесь вашему отцу. Я завтра приду к нему стричься». Я кусал себе руки от злости. Я ни с кем не дружил, я стыдился товарищей, а они считали меня гордым. Я был озлоблен, меня мучил позор. Я предпочел бы быть сыном палача или убийцы. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я удрал в Париж с пятьюдесятью франками и больше никогда не возвращался домой.

Люка слушает. О, какой странный, какой странный. Она не понимает. Но от непонятности, от странности Тьери ей еще ближе.

— Бедный, бедный, бедный, — она целует его, жмурясь от жалости. — И ты никого не любил? Даже мать?

— Только не ее. Она была околдована своим парикмахером, она была его рабой. Она говорила мне: «Ты будешь таким же красивым и умным, как твой отец». Я ее презирал. Они оба были мучительно добры ко мне. Ведь я был их сыном, наследником их парикмахерской. Они гордились мной, как парикмахерской, как друг другом, как всем, что им принадлежало. Они никогда не бранили меня. Я часто уходил на всю ночь, и они не знали, где я. Я прятался в лесу. Я садился под дерево, я давал себе слово, что не сдвинусь с места до утра. Мне было очень страшно. В лесу жили кабаны и олени. Они иногда выбегали на меня. И филины кричали. Я зажигал костер и грелся у огня. Я боялся кабанов и разбойников, темноты и ночного шума леса. И все-таки эти ночи в лесу было единственное, что я любил.

Он поворачивает голову к камину.

— Знаешь, я так люблю огонь оттого, что он напоминает мне мои костры в лесу. Да, всегда, в особенности сейчас. Этот гаснущий камин, как мой костер. Как будто мы с тобой в лесу, в моем лесу.

Люке тоже начинает казаться, что они лежат ночью под деревом обнявшись, как усталые дети. Она легко, как когда-то с Павликом, входит в игру.

— Конечно, мы с тобой в лесу, Тьери. Слышишь, как шумит ветер? Видишь, там, за кустом, что-то шевелится. Это волки. Ты не боишься?

— Нет, я не боюсь. Я ничего не боюсь с тобой. С тобой мне никогда не страшно. Ты моя тоненькая, беленькая девочка. Ты умеешь заклинать и деревья, и молнию, и зверей, чтобы они не делали нам зла.

— Да, правда, — отвечает она в тон ему. — Когда я зову зверей, они бегут ко мне и ласкаются — и олени, и кабаны, и волки, и даже зайцы, хотя они такие трусы, зайцы. Я их глажу. Но тебя, Тьери, они дичатся еще.

Они лежат в темноте и, обнявшись, смотрят в огонь. Они шепотом, детскими голосами говорят о костре, о зверях, о врагах зверей — охотниках, о врагах людей — разбойниках. Доверчиво, наивно, как в детстве, как играющие в детство любовники, на минуту действительно ставшие детьми. И это действительно лес, это действительно детство. Их общее детство с Тьери.

И вдруг в их лес, в их детство врывается телефонный звонок. Звонок из взрослого, враждебного мира. Страшный, страшнее, чем рога охотников, чем лай гончих, чем выстрелы разбойников. И Тьери уже с механической покорностью вскакивает.

Люка тянет его за рукав: «Не надо, оставь».

Но он уже снимает трубку, и враждебный, чужой мир уже бежит по телефонному проводу, доносясь хриплым щелканьем до Люки. Тьери говорит:

— Ничего. Хотели уже спать. Но с удовольствием. Кто еще с вами?

Люка тоже встает, подходит к нему.

— Не надо, не пойдем, — шепчет она, дергая его за рукав, но он не слушает.

— Через полчаса. До свиданья, — он вешает трубку и оборачивается к ней. — Одевайся скорей. Сейчас очень кстати послушать цыган, выпить шампанского. Правда?

— Нет, не правда, — но она не спорит.

Она так потрясена блаженством, она, как после землетрясения, плохо держится на ногах, она чувствует себя такой незащищенной, она просто не в состоянии сейчас сесть в автомобиль, войти в ресторан, увидеть людей. Но одеваться все-таки надо, и она открывает шкаф. Она так слаба, мягка, ей трудно держаться на ногах, будто из нее вынули позвоночный столб, ей хотелось бы свернуться клубком, шариком на ковре. Она выбирает платье. Нет, не это воздушное, тюлевое. Оно своей легкостью отнимет ее последние силы. Она достает из шкафа белое, длинное, твердое, холодное платье. В этой холодной белизне, в этой мраморной твердости можно скорее найти поддержку. Она надевает его, застегивает узкий лиф. От узости лифа, от кушака, стягивающего талию, она чувствует себя немного крепче. Хорошо было женщинам, носившим корсеты. На корсет можно было опереться, это была не только телесная, но и душевная опора. А теперь опереться не на что. Она смотрит на себя в зеркало. У этого белого платья так резко нарушены пропорции, соотношение между слишком коротким, почти отсутствующим верхом и низом в тяжелых складках до полу — еще увеличивает ее смятение, ее тревогу. Чтобы не видеть себя такой искаженной, негармоничной, она накидывает длинную красную накидку. И накидка понемногу приводит все в порядок. Под ее красным бархатом голые восхищенные руки, голые восхищенные плечи, голая взбаламученная душа перестают вздрагивать от слишком острого блаженства, от слишком блаженного смятения. Она смотрит на себя. Уверенность в себе и своей судьбе понемногу возвращается к ней. Она вытягивается, поднимает голову. Теперь действительно можно сказать: «Я готова».

— Ты готова? — спрашивает Тьери из кабинета, и она, крепче запахнув накидку на груди, выходит к нему.

Он стоит посреди кабинета, задумчивый и тихий.

— Знаешь, — говорит он, — может быть, нам действительно лучше остаться дома?

— Нет, нет, — она качает головой. Она не хочет от него жертв.

Она сама хочет принести ему жертву. И это совсем не жертва.

— Нет, пожалуйста, поедем, Тьери.

В автомобиле Тьери поворачивается к ней. У него все еще задумчивое, почти грустное новое лицо.

— Знаешь, Люка, мне продолжает казаться, что мы с тобой дети, как там, в моем лесу, что ты — моя сестра. Ведь я всегда мечтал о сестре. Она была беленькая, тихая девочка, похожая на тебя. Да, совсем такая, как ты. Мне теперь кажется, что ты моя сестра.

Она кивает.

— Ну конечно, я твоя сестра, Тьери. Я — все, что ты захочешь: твоя сестра, твоя коза, твоя перчатка. Я твоя сестра. Но тогда, — подняв брови, соображает она, — тогда твой парикмахер — мой отец?

— Ах, нет, я его никогда отцом не считал. Лучше уж пусть твой русский отец будет и моим отцом.

Но Люку и это не удовлетворяет.

— Ни твой, ни мой. У нас будут новые родители. Мы сами выберем их. Идеальные родители. Мы купим их на marche aux puces[[11]](#footnote-11) в золотых рамах. Мы придумаем их жизнь и наше с тобою общее детство. Сколько у нас воспоминаний, Тьери. Я ничего не забыла. А ты?

— И я все помню. У меня отличная память. Но нам все-таки надо будет сверить, сличить наши воспоминания. Я уверен, что ты много путаешь.

— Нет, это скорее ты путаешь. Ты всегда был такой рассеянный. Скажи, например, как звали нашего садовника?

— Которого? Того хромого с бородой, который так ловко истреблял кротов? Теофил, конечно.

— И совсем не Теофил, а Жан. Теофил была его собака. Такая рыжая, лохматая. Она-то и ловила кротов.

Он соглашается.

— Да, ты права. Зато я старше и помню все, почти с самого начала века. Я, например, помню даже бабушку, которая умерла до твоего рождения.

Люка не спорит.

— Я, конечно, не могу ее помнить, но мама рассказывала мне о ней. Бабушка была красавицей. Она раз даже танцевала на балу императрицы Евгении, и Наполеон III спросил о ней: «Кто эта пышная блондинка?» Мама очень гордилась ею.

Тьери смеется.

— Мама была ужасно снобична. Она скрывала, что дедушка начал свою карьеру маляром...

Люка дергает его за рукав.

— Тьери, мы проехали мимо.

Они действительно проехали. Тьери поворачивает обратно.

— А хочешь, Люка, удерем, как когда-то удирали от уроков, оставим Герэна, поедем вдвоем куда-нибудь? Мы еще так много должны установить и вспомнить.

Люка очень хочет, но бедный Герэн ждет. И у них еще хватит времени для семейной хроники — в одну ночь все равно всего не перевспомнишь. Тьери останавливает автомобиль.

— Завтра непременно купим портреты родителей. И красавицу бабушку тоже.

Люка ждет, пока Тьери запирает дверцу автомобиля.

— Знаешь, Тьери, я так рада, что мы теперь брат и сестра. Ты всегда был немного моим начальством, и я немного боялась тебя. Но теперь мы равные, раз ты мой брат.

Он берет ее под руку, и они входят в ресторан.

— Сестра всегда важнее брата. Ты важнее меня теперь, — успевает он сказать ей прежде, чем поздороваться с Герэном.

Люка сидит на мягком желтом диване, рядом с Тьери. Справа Герэн, напротив итальянский певец. Она не расслышала его имени, но Герэн пояснил — знаменитый. Она верит, конечно знаменитый. Обыкновенных людей, незнаменитых, немиллионеров, она теперь вообще не встречает. Может быть, обыкновенных людей вообще больше не существует, все перевелись, стали зрителями. Зрителей всюду много, даже и здесь. Она уже слышит громкий шепот: «Смотри, это Тьери Ривуар»; и Тьери, не поворачивая головы, уже сияет в пространство своей самой электрической улыбкой для зрителей. Плоская лампа, похожая на пепельницу, бросает льстивый, уклончивый свет, украшая все вокруг. Даже Герэн кажется почти красивым со своим гладким, круглым, блестящим черепом и прищуренными молодыми глазами. Из-за розовых гвоздик не видно лица итальянца, но то, что он сидит тут, еще повышает удовольствие. Итальянец — Италия — Венеция как напоминание, как обещание. Голос итальянца, льстивый и уклончивый, как свет плоской лампы, украшает самые простые слова, дает им не принадлежащие им значение и вес. Но она не слушает, о чем говорят за ее столом. Она смотрит кругом. Как нарядно, как празднично, как тесно. Она слушает музыку. Музыка превращает ее реальное земное счастье в небесное, идеальное счастье. Переносит счастье в другой план. Она слушает музыку, веки ее закрыты, губы морщатся, щеки бледнеют. Она слушает, и ее такое земное, телесное, тяжелое счастье, еще утяжеленное желанием ребенка, вдруг превращается в легкое, воздушное, прозрачное. Она чувствует легкость, холод и пустоту в груди.

Она слышит высокий, тонкий, острый, чистый звук скрипки, видит зеленый узкий прозрачный лист, трепещущий на солнце. И вдруг понимает, что этот острый, чистый звук и есть этот прозрачный трепещущий лист, что этот лист, этот звук — одно и то же, что оно — ее освобожденное от реальности, от тяжести жизни, идеализированное счастье. Воздушное, небесное, бессмертное счастье. Счастье, прошедшее через влюбленность и желание, освобожденное, чистое, острое, высокое, как этот звук, как этот зеленый лист. Она прижимает руку к груди. Это ощущение холода, пустоты и вечности надо запомнить. Она все ясно сознает, она не забыла, что ей по сценарию придется умереть в фильме, сгореть в аэроплане и потом, после смерти, бежать по облакам «в виде души». Это «в виде души» все время беспокоило ее, она никак не могла представить себя душой после смерти. Но теперь она знает, теперь ей нечего беспокоиться.

Она поворачивает голову к Тьерри: «Как хорошо, что мы приехали сюда». И все согласны, все очень рады, что приехали. Она пьет шампанское, она улыбается.

Красная накидка соскальзывает с ее голых плеч. Защита накидки больше не нужна. Она чувствует себя защищенной счастьем, музыкой, шампанским. Они говорят о фильмах, об актерах и успехах.

— Я хотела бы, чтобы сейчас был сад и ветер, — говорит она, немного закидывая голову, — чтобы все цвело — розы, жасминовые кусты, сирень, чтобы была вот эта самая музыка и еще звезды. А нас не было, нас совсем не было бы. Или нет, чтобы мы были этим садом, этой музыкой. Ах, я не знаю, как объяснить. Но вы понимаете?

И все кивают и улыбаются. Итальянец льстиво говорит: «Конечно, я тоже мечтаю стать садом». Но Люка не слушает.

Музыка волнами сходится и расходится вокруг белой скатерти стола. Скатерть, как лед. Люка отламывает гвоздику и кладет ее на скатерть, на лед. И гвоздика плавно и грациозно скользит по льду, как конькобежец. Люка показывает ее рукой: «Видите?» Но Тьери говорит очень нежно: «Вам больше не надо пить». Она послушно, не докончив даже глотка, ставит стакан обратно на скользкий лед, и стакан кружится вместе с гвоздикой вокруг плоской лампы и серебряного ведра с шампанским.

Они говорят о ясновидении, о предсказаниях.

— Я умею читать по руке, — почти поет сладостный, заманчивый голос итальянца и обрывается, ожидая, чтобы Люка протянула ему руку.

Но Люка счастлива. Впереди только счастье. Судьбой интересуются неудачники, ждущие, надеющиеся. Ей ничего не надо, она и сама все знает. Итальянец просит:

— У вас такое лицо, у вас должна быть замечательная судьба.

Она качает головой: «Не хочу». Но он настаивает, и голос его утомительно привязчив. Она высоко поднимает руку, будто взмахивает крылом, и протягивает ее через стол. Рука почти касается лампы, тонкая, белая, пальцы розовато просвечивают. Итальянец склоняется над ней. Все молчат и ждут. «Какая у вас красивая рука». Он останавливается и смотрит ей в глаза. У него черные, совсем матовые глаза, странные, как из сукна, а она и не заметила. «Какая у вас страшная рука». Она хочет отдернуть руку, ей становится неприятно, тяжело, будто ей грозит опасность, но он крепко держит ее пальцы в своих.

— У вас прекрасная линия судьбы, вы будете знаменитой, — он делает паузу, — знаменитой... Потом...

К чему относится это «потом»? Ей все равно. Она слушает сквозь кружение, звон и шампанское. Смутно и боязливо. Скорей бы это кончилось. Скорей бы сжать руку в кулак, спрятать ее.

— Сколько вокруг вас было страданий. Сколько смертей, — снова пауза. Черные, широкие брови поднимаются углами над черными глазами из сукна. — Вы, — голос сразу теряет всю сладость и льстивость, становится обличительным, свистящим, — на вашей руке кровь, родственная кровь. Из-за вас...

Люка с силой вырывает руку и, оттолкнув стол, встает: «Откуда вы знаете?» Ведро с шампанским с грохотом летит вниз, шампанское льется темным, медленным ручейком по ковру, куски льда скачут во все стороны, как испуганные лягушки. Даже музыка останавливается, будто отделяя этой паузой, этим мгновением тишины будущее от прошлого, подчеркивая важность происходящего. Но лакеи уже бегут, вытирая пятна, подбирая куски льда, но музыка уже звенит, и за соседними столиками смеются и разговаривают так, как будто никто ничего не заметил.

— Не устраивайте скандала, — Тьерри властно берет Люку за руку. — Садитесь.

Она не слышит. Она стоит, прижавшись к стене, с ужасом глядя на черные, матовые глаза.

— Откуда вы знаете? Я не убивала. Я не виновата! Вера... — повторяет она имя, которое годами не произносила, и закрывает лицо.

— Это ничего, это сейчас пройдет, — успокаивает Тьери.

Ей дают воды.

— Выпейте, выпейте.

Она с отвращением глотает тяжелую холодную воду. Сейчас пройдет. Да, уже легче, уже прошло. Она смотрит на Тьери. Какой он бледный. Герэн возмущается.

— Ваши итальянские развлечения нам не подходят.

Итальянец униженно извиняется, голос его еще льстивей и слаще. Да, он пьян, он хотел произвести впечатление. Он просит прощения у Люки, у Тьери. Она молчит. Она сознает, что ей следует рассмеяться, обратить все в шутку. Но она молчит. Страх сдавливает ее горло. Она не находит ни слов, ни нужной улыбки. Слова вьются вокруг ее головы, но она никак не может поймать их. Они сами по себе, она сама по себе. Ей страшно. Тьери натянуто смеется. Заказывают еще шампанского. Это для зрителей, чтобы замять скандал. Итальянец виновато объясняет что-то.

— Я устала, — говорит Люка.

Это, конечно, не то, что нужно. Но это все-таки подходит. И, выбиваясь из сил, добавляет: «Домой». И все сейчас же согласны.

— Да, пора домой, — Тьери и Герэн берут ее с двух сторон под руки. — Осторожно, не падайте.

Но она сама легко встает и быстро идет к выходу. Она совсем трезва.

— Спокойной ночи.

Она садится в автомобиль, прижимается лбом к холодному окну.

— Тебе дурно? — спрашивает Тьерри. Но ответить слишком трудно — она молчит.

Не простудись, закутайся хорошенько.

Она крепче запахивает накидку. Из послушания, не для защиты. Какая уж тут защита? Ей страшно. Страшно оттого, что Тьери понял, догадался. Она выдала себя. Она и сейчас продолжает выдавать себя.

— Почему ты так испугалась? — спрашивает он.

Она сжимает руки под накидкой и молча смотрит в окно.

— Я была пьяна, я и сейчас пьяна, — говорит она наконец тихим, трезвым голосом.

Они выходят из автомобиля, они поднимаются в лифте, они дома. Он зажигает все люстры и лампы, будто для того, чтобы лучше видеть Люку. Он берет ее за плечо.

— Скажи мне, что это значит? Ты крикнула: «Откуда вы знаете? Я не виновата...» Что это значит?

Он заглядывает ей в глаза. Она опускает веки. Нет, она ничего не скажет, она будет молчать, она должна молчать.

— Скажи, Люка.

Она устало вздыхает.

— Я была пьяна. Я испугалась, у него сумасшедшие глаза.

Да, она действительно испугалась. Она давно забыла, она никогда не вспоминала, и вдруг так, среди музыки и шампанского...

— Я хочу спать, — она жалобно вздыхает, — я так устала.

— Ты должна сказать, — настаивает он. — Что это значит: «у вас на руке кровь»?

— Оставь меня, — просит она. — Я не знаю, я хочу спать.

Она снимает через голову шумящее, надушенное платье. На минуту от настойчивости Тьери, от страха и запаха духов она задыхается. Но платье уже ложится белым кругом на ковер.

— Спать, — вздыхает Люка. — Сон...

В сон можно спрятаться, как в крепость. Она ничего не скажет, он ничего не узнает. Она вытягивается под одеялом, крепко сжимает руки и колени. Она ничего не скажет. Она борется за свое счастье, за их счастье. Тьери сейчас — враг, их общий враг.

— Ложись спать, — тихо шепчет она и закрывает глаза, чтобы не видеть, как Тьери шагает из угла в угол, не видеть его черного фрака, его белого лица, не слышать его требовательного голоса, спрятаться в сон, как в крепость. Сон — союзник, сон не выдаст. Завтра она все обдумает, все объяснит. Но до завтра еще далеко. Тьери трясет ее за плечо:

— Не спи, не спи. Ты должна сказать, должна.

Она испуганно открывает глаза. Тьери стоит перед ней все еще во фраке, и, как всегда, когда он очень взволнован или устал, выражение его лица не совпадает с его словами. Оно почти весело, это бледное, упрямое, жестокое лицо, оно улыбается. Люка жмурится. Нет, это только снится ей. Но он берет ее за плечо, он наклоняется над ней.

— Я не успокоюсь, пока не узнаю. Я все равно узнаю.

В сочетании сияющей улыбки с жестокими, упрямыми глазами что-то нереальное, ненормальное и очень страшное. Он садится на постель.

— Ты должна сказать.

Она тоже садится, прислоняется спиной к холодной стене. От короткого, смутного сна, от света, от холода она совсем обессилена. Сон отнял ее последние силы, она больше не может бороться. Сон оказался не союзником, а предателем, он выдал ее Тьери. Выдал связанную по рукам и по ногам, слабую, безвольную. Светлые, острые глаза Тьери смотрят прямо в ее глаза. Она узнает знакомое, тоскливое чувство собаки на цепи. Да, так он смотрит на нее в студии, заставляя ее слушаться. Но сейчас он требует ответа, он приказывает: «Говори». Она плачет, но слезы не помогают, не действуют на него. Она хочет закрыть глаза и не может, она трогает подушку, мнет простыню, натягивает на себя одеяло, она ищет помощи, защиты. Но защиты нет, помощи ждать неоткуда. И она перестает бороться, голова становится звонкой, пустой. Стержень «ничего не скажу», за который цеплялись все мысли, исчезает куда— то, и мысли разлетаются, притягиваемые, как комары огнем свечи, светлыми, злыми глазами Тьери. Люка в изнеможении складывает руки и вдруг слышит, как ее собственный голос на вопрос «Кто умер из-за тебя?» тихо отвечает: «Вера, моя сестра». Она хочет крикнуть: «Нет, нет, это неправда, я лгу, не верь...» Но ее рот не может выговорить этих слов. Только о смерти Веры, только для рассказа о ее смерти она находит слова. Она рассказывает все, застыв, оцепенев, с ужасом, с чувством гибели, катастрофы слушая свой голос. Все. Как они жили летом в Мондоре и познакомились с Арсением. Как она влюбилась в него и Вера тоже, как после Рождества Вера вышла замуж. Нет, не за Арсения. Арсений даже не бывал у них. Люка встретила его два раза за всю зиму. Один раз, когда Вера была в свадебном путешествии, второй — под дождем, когда Вера заболела, когда Вера забеременела. А потом они жили на даче, и Арсений опять, тогда ей казалось — случайно, был их соседом по даче. Она не знала, что Вера — любовница Арсения, что она беременна от него. Она была влюблена в Арсения, ей казалось, что он тоже влюблен в нее, только не смеет ей признаться. Однажды ночью она потихоньку пришла к Арсению.

Лампы широко и ярко освещают комнату. Люка сидит на смятых простынях. Она дрожит. Она смутно сознает, что она сидит здесь, на диване Тьери, она смутно видит лампы и Тьери, его злые глаза, его фрак. Все это как будто очень далеко, в каком-то другом плане, за гранью понимания, за гранью настоящего, нереально, расплывчато. Все это только воспоминание. Настоящее — Арсений, Вера и она, пятнадцатилетняя Люка, — то, о чем она сейчас рассказывает.

...Люка бежит по пустой улице. Вот дача Арсения. Она стучит в ставню.

— Кто тут? — Арсений стоит в освещенном четырехугольнике двери. — Люка? Что случилось?

— Ничего не случилось, — говорит Люка. — Я уже была у вас днем, я прочла письмо, то в ящике. Я знаю, вы тоже любите меня.

Он внимательно и удивленно смотрит на нее.

— Вот оно что, — говорит он задумчиво. — Вы поняли из письма, что я люблю вас?

Луна освещает балкон, лунный свет падает прямо в лицо Люки.

— Да, да, — кричит она чуть не плача. — Вы любите меня. Зачем вы притворяетесь? Ведь я тоже люблю вас.

Арсений берет ее за руку.

— Я пришла, — объясняет она, — я думала, когда любят, всегда хотят быть вместе ночью.

Арсений смеется. Он подводит ее к дивану, он наклоняется к ней. Его черные волосы, его черные глаза так близко. Этой минуты она ждала всю жизнь.

— Так вы любите меня, маленькая Люка?

Он целует ее губы, ее голые дрожащие колени:

— Любите меня?..

Утро. Калитка скрипит. Арсений входит в их сад. Люка бежит к нему навстречу. Арсений прижимает ее к себе.

— Нет, нет, — испуганно шепчет Люка, — не здесь. Я приду к тебе ночью.

— Я не могу дождаться ночи, — говорит он и тяжело и властно кладет руку на ее плечо.

Она хочет вырваться, но она так слаба, так влюблена. Он ведет ее в беседку, и она покорно и влюбленно поднимается по ступенькам, переступает порог. Полутьма, запах сырости и пыли. Горячие руки, горячие губы Арсения.

— Люка, — зовет голос Веры.

Дверь распахивается. И сразу свет и крик. От света и крика ничего нельзя понять. Люка выбегает из беседки. Вера лежит на земле около обвалившихся перил. Неужели это Вера так страшно кричит?..

Веру переносят в дом. Арсений побежал за доктором. Мать и горничная суетятся над ней.

— Как это случилось, Люка?

— Я не знаю, — отвечает Люка растерянно, — она, кажется, хотела войти в беседку и оступилась.

Вера поворачивает к ней белое искаженное лицо, уставляется на нее бессмысленными пустыми глазами.

— Будь ты проклята, проклята, проклята, — ясно и громко говорит она. — Проклята, проклята...

— Она умерла ночью, — Люка проводит рукой по лицу. И сразу прошлое и настоящее снова меняются местами. Теперь все. Она все рассказала. Но ей хочется еще сказать самое главное, объяснить, что она не виновата.

— Мне было только пятнадцать лет, я ничего не понимала...

Но Тьери не слушает, он узнал все, что хотел, он больше ни о чем не спрашивает. Он закуривает папиросу, щелкает портсигаром.

«Виновата? Конечно она была не виновата, но Вера все-таки прокляла ее».

— Прокляла, — повторяет он медленно, — прокляла перед смертью. А теперь давай спать.

Она только что была райской птицей счастья и сама своим рассказом ощипала себя, каждым словом вырывая из себя перо за пером, и теперь сидит перед Тьери, как общипанная, посиневшая, голая курица с длинной, голой, отвратительной шеей. Она чувствует, что он так и смотрит на нее, как на, общипанную курицу. От райской птицы остались только сломанные перья, и он отворачивается к окну.

— Тьери, ведь я не была виновата.

— Да, конечно, конечно, — он и не обвиняет ее, но разве дело в ее вине?

Он снимает фрак, тушит лампы — они больше не нужны, они больше не должны освещать лицо, прошлое, тайну Люки. Он подходит к окну и задергивает шторы на окнах. Он никогда не задергивал прежде штор, он терпеть не может темноты. Но сейчас он задернул шторы сам. Должно быть, чтобы было темно, чтобы не видеть ее.

— Спи, — говорит он коротко.

Она вздыхает в темноте. Его башмаки падают на ковер, он ложится. Он не обнимает Люку, как всегда. Он ложится как можно дальше от нее, стараясь не коснуться ее ног. Она тихо вздыхает, она беззвучно плачет в темноте. Она измучена, уничтожена, искалечена. Неужели можно жить дальше?

«Тьери», — хочет она позвать, но не смеет и молча протягивает к нему руку под одеялом. Он не спит, он тоже протягивает к ней руку и крепко, молча берет ее руку в свою теплую руку. Молча, в тишине, в темноте. Она вздрагивает от благодарности, от надежды. Но он, пожав ее руку, сейчас же снова выпускает ее. Это рукопожатие не похоже ни на примирение, ни на начало новой жизни. Оно похоже на прощание. Да, это прощание. Ее рука одиноко и беспомощно лежит на холодной простыне.

— Тут тебе будет хорошо, — сказал Тьери вчера, прощаясь с ней. — Очень уютная комната и зеленая — цвета лавров, цвета славы. Да, тебе здесь будет хорошо.

Она сидит в зеленом кресле и смотрит на телефон. Она ждет, чтобы телефон зазвонил. Но телефон молчит.

Как это случилось? Как это могло случиться? Почему она здесь, в этой зеленой комнате, одна? Как могло случиться, что она стала бездомной, одинокой, несчастной? Она снова вспоминает все с самого начала, желая понять, выяснить, размотать весь клубок с начала, размотать его до кончика, до хвостика, завернутого, как на кусочек картона, на то, с чего все началось, на ту ночь или, вернее, на то утро, когда она рассказала Тьери про смерть Веры. Размотать, чтобы потом снова аккуратно смотать его, пересмотреть, пережить опять по порядку, час за часом, день за днем.

В то утро Тьери проснулся поздно и сейчас же уехал в студию. Он так торопился, что даже не поцеловал ее. Впрочем, он с тех пор вообще не целовал ее. Он не взял ее с собой, но ведь она еще и не была одета и ей в тот день нечего было делать в студии. Ожидая его, она почти совсем успокоилась. Он вернулся с режиссером Давиэ, и они вместе провели вечер. А ночью он опять лег на самый край дивана, и тогда она поняла, что она одна, что его нет, что это — одиночество. Одиночество вдвоем. Вежливое, молчаливое, ледяное. Ей целую неделю нечего было делать в студи, и он ездил один. Вечера по-прежнему проводили с Герэном и Давиэ и возвращались очень поздно. Теперь он чаще всего молчал или читал газету, будто боялся, что она начнет объясняться. Но она тоже боялась объяснений. О чем объясняться? Что объяснять? Она знала: если надо объяснять, то не надо объяснять[[12]](#footnote-12). Она садилась в угол на низкую скамейку и пристально смотрела в него. Он читал газету, страницы успокоительно шуршали и матово блестели под лампой, она не видела его лица, только круглый затылок и кусок шеи над воротником. Так было лучше. Она могла представить себе, что у него доброе, усталое лицо. В чтении газеты было что-то будничное, домашнее. Но он откладывал газету и поворачивал к ней свое напряженное, механически улыбающееся лицо, и она выбегала из комнаты, чтобы не расплакаться.

Как-то, от нечего делать, она решила заняться хозяйством и все утро пришивала недостающие пуговицы к его рубашкам — их было так много, целый комод, набитый ими, она даже не успела пересмотреть их все. Она никогда не шила для Павлика. Даже себе ничего никогда не шила. Необычайное ощущение иголки, которой можно уколоться, длинной путающейся нитки, пуговицы, в конце концов все-таки прирастающей к рубашке, и гордости... Да, она чувствовала смешную гордость. В шитье было какое-то утешение, какая-то надежда, будто она чинит не рубашку, а свое собственное счастье. Вернувшись, Тьери так и застал ее с иголкой в руке и рубашкой на коленях. И тогда он не только не похвалил ее, но почти рассердился впервые. Очень вежливо и очень холодно он попросил ее: «Больше никогда не занимайся этим. На это существуют белошвейки». Он взял рубашку с ее колен и бросил ее в ванную на пол. «В стирку», — приказал он лакею. Она поняла, что ему неприятно, что она трогает его вещи. Рубашка была чистая, но она, Люка, держала ее в руках — значит, ее надо отдать в стирку.

Но внешне все шло по-прежнему. Они по-прежнему проводили вечера и ночи вместе, а днем Люка бегала по парикмахерским, по шляпочницам и портнихам, стараясь как можно больше украсить себя. Что, если переменить прическу? С пробором посередине и локонами на висках? И она меняла, но он не замечал.

Она взволнованно рылась в груде скрипящего, разноцветного шелка. Надо только суметь выбрать, найти. Вот голубой шелк как обещание высовывается из-под навалившейся на него тяжелой зеленой парчи. Люка ловит голубой шелк, крепко держит его в руке: «Этого четыре метра». Но когда материя отрезана, наступает сомнение, та ли это? И снова надо рыться, высматривать. Да, конечно, она хотела украсить себя как можно больше. Все новые шляпы и платья должны были помочь в этом. Но она ждала от них еще и другой помощи: помимо украшения, они сами по себе должны были вернуть Тьери. Та вечно женская надежда на шляпу, на платье, на прическу, которые вдруг вернут счастье. Она чувствовала, что потеряла счастье, но еще не знала, что счастье уже навсегда потеряно. Счастья уже не было, но несчастья тоже еще не было. Было какое-то промежуточное состояние, междуцарствие, «смутное время» грусти и надежды. Несчастья еще не было — ведь Тьери жил рядом с ней, в одном доме, в одной комнате. Он был здесь, а в любви, она знала твердо, главное — присутствие, физическое присутствие — видеть, слышать, трогать. Впрочем, трогать его она не смела и сам он как будто старался не дотрагиваться до нее. Но она не была несчастна, хотя прежней полноты жизни уже не было. Жизнь стала скудной, замирающей, ускользающей, какая-то пустая, полая, бесполая. Природа уже не служила фоном. Воздуху, воде, свету, огню теперь не было никакого дела до Люки, и она сама перестала их замечать. Связь между ней и ними была порвана, они уже не составляли с ней вместе одного гармонического целого полной, счастливой жизни. Она как будто потеряла свое место в мире, временно выпала из него, не участвовала в нем. Ей казалось, что ее чувства — зрение, слух, вдруг ослабели, что она уже не видит, не слышит, не замечает окружающего так ясно, как прежде.

Но в этот день (узел на нитке воспоминаний) было почти весеннее солнце, и такого солнца она не могла не заметить. Они возвращались домой из студии. Через десять дней они уезжали в Венецию, фильм был почти окончен.

— Я очень доволен, — говорил Тьери.

Она так давно не слышала от него «я доволен», что горло ее сжалось от надежды и благодарности. Он рассказывал ей о Венеции. Она знала давно все его рассказы, она слушала не слова, а его голос, и этот холодный прозрачный голос заливал ее радостью и надеждой. Ничего еще не потеряно, все опять будет хорошо. Жизнь возвращается, счастье возвращается. И Тьери возвращается. Из молчания, одиночества, отчужденности. Слово за слово, взгляд за взглядом, Тьери становился нежнее, обрастал близостью, оттаивал. И вот уже они сидели, как прежде, в одном кресле обнявшись и вместе смотрели в огонь камина. И уже нельзя было не замечать восхитительного вспыхивания и треска дров и блаженного изнеможения от жары.

Они ни о чем не говорили или, вернее, не говорили о главном. Ни о той ночи, ни о себе. Только о фильме, о путешествии, об Италии.

— Какое у тебя красивое платье. Новое?

— Да, новое.

Даже платье не подвело, она не напрасно так долго выбирала его, платье оправдало себя — новое платье, новая жизнь. Тьери возвращался. Все начиналось сначала. Но не завтра, не «жизнь начинается завтра»... Нет, сейчас. Сейчас и здесь.

— Когда мы совсем кончим фильм, я подарю тебе брошку, у тебя нет никаких драгоценностей.

Она поднялась, чувствуя слабость и головокружение. «Это от радости», — смутно подумала она.

— Спасибо, Тьери.

Он рассмеялся:

— Как торжественно. И не благодари заранее, ведь я еще ничего не подарил тебе, успеешь.

Она хотела объяснить, что само обещание дорого ей — если бы он обещал ей канарейку, она так же обрадовалась бы, объяснить, как она рада, как благодарна. Но ее вдруг замутило, и она, зажимая рот рукой, выбежала в ванную. Постояв у умывальника, переведя дыхание, она выполоскала рот холодной водой, чтобы избавиться от сладковатого, мутящего вкуса, но она продолжала чувствовать еле ощутимый вкус небытия, светильного газа, меди на языке, на нёбе, в горле. Она вытерла пот со лба и растерянно посмотрела в зеркало на свое вдруг снова ставшее совсем детским подурневшее лицо. Что с ней? Она читала, что иногда становится дурно от волнения, от радости, но ведь это в книгах...

— Куда ты убежала? — крикнул Тьери.

— Сейчас, сейчас.

Она подкрасила щеки, стараясь вернуть себе веселость и взрослость.

Вот все уже прошло, конечно это от волнения. Она вернулась к Тьери.

— Мне надо было сказать лакею...

Что надо было сказать, — она еще не придумала, но нельзя же было признаться Тьерри, что ей сделалось дурно оттого, что она обрадовалась. Она снова уселась в кресло рядом с ним. «Еще неделя, и мы будем в Венеции».

Так прошел этот вечер, почти счастливо. «Почти» — они оба были слишком осторожны, слишком пугливы, чтобы отбросить «почти», боясь задеть прошлое, не доверяя будущему, говоря только о поездке, о Венеции, о фильме. Было уже поздно, но они все оттягивали ложиться, боялись чего-то. Иногда он останавливался, замолкал, ожидая, что она скажет. И она говорила, она спрашивала, она помогала продлить, протянуть вечер, оттянуть, отогнать сон. Но когда часы пробили три, нельзя было больше оттягивать, и они пошли в спальню.

— Я страшно устал, — голос Тьери звучал обиженно и жалобно.

— И я страшно устала, — жалобно ответила она.

Они легли, и в первый раз за этот месяц он не только не отодвинулся от нее, но крепко, как прежде, обнял ее, и она с торжественной, жертвенной нежностью обвила его шею руками. «Теперь навек, — подумала она, прижимаясь губами к его холодному голому плечу, унесенная, покорная, раздавленная. — Навек». Но вечности не было. Вечность сейчас же оборвалась и, обрываясь, разорвала крепкий круг, в который ее руки заключили счастье.

Она открыла глаза. Тьери лежал рядом с ней бледный, с подергивающимися скулами, губы его странно и страшно улыбались сияющей, электрической улыбкой.

— Я, я не могу, — с трудом выговорил он, и она услышала, как зубы его стучат. — Я так хотел забыть, но я не могу.

Он трясущейся рукой взял стакан воды со столика. Он медленно пил, она молча смотрела на него. Руки его уже не тряслись и скулы не дергались, он справился даже с улыбкой, он совсем справился с собой.

— У меня, должно быть, начинается грипп, — голос его звучал совсем спокойно. — Знаешь, я лучше лягу в кабинете, я боюсь заразить тебя. Нет, нет, не спорь. Если бы ты теперь захворала, мы не кончили бы картины, мы бы не могли уехать в Италию. У меня лихорадка, завтра я буду здоров.

Она хотела объяснить ему, что она не боится заразы, но она знала, что все напрасно.

— Я постелю тебе в кабинете, — сказала она только.

Но он отказал ей и в этом.

— Нет, лежи, спи. Я сам. Лежи.

И она осталась лежать. Но спать она больше не могла. Она лежала и думала о том, что это уже не только отсутствие счастья, что это уже горе. Если это еще не горе, так какое же оно, горе?

На следующий день Тьери, здоровый, деятельный, оживленный, будто не помнящий того, что было ночью, улыбаясь, предупредил ее в студии, что ему надо ехать на деловой обед, что он вернется поздно и она не должна его ждать.

— Ты непременно должна лечь, у тебя сейчас столько работы.

Она действительно легла, как только вернулась. Она так устала, что сейчас же уснула. Ее разбудило легкое щелканье ключа.

— Тьери, — позвала она. Ответа не было, все было совсем тихо — ни шороха, ни движения. Значит, она ошиблась. — Тьери, — позвала она еще раз и прислушалась к тишине. Часы показывали пять. Неужели он еще не вернулся? Она встала с постели и на носках пошла в кабинет. Окно стояло открытым, она ясно увидела в полутьме голову Тьери на подушке. Лицо было неподвижно и напряженно, веки закрыты. Она подошла совсем близко. И тогда она услышала, что он громко и размеренно дышит, дышит так, как обыкновенно дышат спящие. Это было так необычайно, что она остановилась: «Что с ним?» И вдруг поняла: он не спит, он притворяется. Ведь он не знает, что во сне он дышит неслышно. Он прячется от нее в сон, он боится ее. Она стояла, не решаясь двинуться, боясь показать ему, что она понимает его притворство. Поправить одеяло или подушку, как делают любящие женщины в фильмах? Нет, нет, ничего не надо. Она осторожно повернулась, осторожно, на носках вернулась к себе.

А на следующий день он сказал ей, что в Париж приехала его мать, что она всегда останавливается у него и что Люке лучше всего на несколько дней переехать в отель. И, хотя это звучало невероятно, Люка поверила. Тогда-то, в тот вечер, устраивая ее в зеленой отельной комнате, он и сказал: «Тебе здесь будет хорошо».

И вот теперь в который раз она все силится понять, как это «хорошо» произошло? Как?

Она ждет, чтобы Тьери позвонил ей, он обещал позвонить, чтобы встретиться ночью. И телефон наконец действительно звонит. Холодный, ясный, восхитительный голос Тьери из неизвестности бежит к ней по проводам.

— Я очень жалею, я не могу, я должен быть с матерью. Выспись хорошенько. Ложись сейчас, спокойной ночи. Ты сегодня плохо выглядела. До завтра.

Холодный, восхитительный голос Тьери снова убежал по проводам в неизвестность. Она слышит гул прерванного контакта. Кончено. Откуда он звонил? Ни за что, никак нельзя услышать его голос снова. Хотя бы на одну минуту. Она все еще держит трубку в руке, она громко зовет: «Тьери, Тьери». Стучат. Лакей вносит большую корзину белых цветов. От Тьери на новоселье. Она смотрит на цветы, она совсем не рада им. Они похожи на могильный венок, такие неживые, белые. Она отворачивается, чтобы не видеть их. И все-таки это первые цветы, которые он послал ей, первый подарок от него. «Если бы я умерла, он, наверно, послал бы точь-в-точь такие же». Она вздыхает. Но ведь я не умру, я буду жить еще очень, бесконечно долго, до самой старости. Да, она всегда чувствовала — по меньшей мере, до восьмидесяти лет, а сейчас ей двадцать один, и предстоящая ей длинная жизнь пугает ее, как когда-то пугала мысль о смерти. Но страх смерти был туманным, смутным. В смерть она по-настоящему все же не верила, это была скорее какая-то поэтическая тревога, чем страх. Но страх жизни — страх всех огорчений, слез, обид, которых нельзя избежать, всех этих лет, которые будут, как камни, падать на нее, пока не собьют ее с ног, не вобьют в землю, под землю... Нет, это реальный страх, берущий за горло, мешающий дышать. Через три дня они уезжают в Венецию, через шестьдесят четыре часа. Вдвоем, в автомобиле, через Швейцарию. Это будет, это решено, этого не может не быть. Ни о чем другом не надо думать. Венеция. Она раздевается, ложится в постель, чтобы проспать побольше этих ни на что не нужных часов. Она кладет голову на подушку. Она вздыхает: «Венеция». Но что-то мешает уснуть, вьется холодом по простыне. Люка чувствует слабый укол в висок: «А после Венеции?» Она поднимает голову, ударяет ладонью по подушке.

— После Венеции, — говорит она громко, — все что угодно. Но я хочу быть счастлива в Венеции. Счастлива в Венеции. Счастлива в Венеции, — повторяет она трижды, как заклинание.

Люка стоит на плато[[13]](#footnote-13) в белом длинном «ангельском одеянии», в светлом, длинноволосом парике, жалкая и растерянная. И как она устала. Уже девять раз крутят все ту же сцену, уже девять раз она пробегала по облакам, боясь споткнуться о них и упасть, уже девять раз она спела свою небесную песню. И все опять сначала. Она напрасно старается вспомнить ощущение легкости, блаженства, бессмертности и холода в груди, которое она испытала в ту последнюю, счастливую ночь в ресторане, услышать тонкий, резкий, высокий звук, увидеть прозрачный лист, дрожащий на солнце. Она чувствует себя земной, неуклюжей, тяжелой и смешной в этом нелепом кудрявом парике, в этом длинном, развевающемся балахоне. Тяжесть переполняет ее, она будто распухла, растолстела. Ангельская голубая лента слишком крепко стягивает талию, ангельские сандалии натирают ноги, ангельский парик жмет голову. Она робко смотрит на Тьери. Как она бездарна, как он терпелив.

— Попробуем еще раз, уже почти хорошо.

Она снова бежит, облака поддаются под ногами, она поет. И опять: «И уже почти хорошо». Скорее бы это кончилось. И вот наконец кончается. Люка сходит с плато, и вдруг ей снова становится дурно. Она бежит к себе в уборную и, не добежав, останавливается в коридоре, нагибается над грудой старых декораций. К ней подходит ангел-хранитель, берет ее нежно за лоб, поддерживает ее. Ласковый голос говорит: «Это ничего, это бывает. От усталости, от жары». Ангел вытирает ей лоб широким рукавом, снимает с ее головы парик. «Сейчас легче станет. Вот, уже прошло». Люка хлопает длинными приклеенными ресницами и шумно вздыхает.

— Прошло? — участливо говорит ангел. — Это бывает. Это ничего, — и вдруг вопрос: — Вы замужем?

Неожиданно для себя Люка отвечает:

— Нет.

— Все-таки сходите к доктору.

— Да, пойду, спасибо, ангел, никому не рассказывайте.

Люка храбро идет к себе, держа парик в руке, подметая его длинными волосами пол. Хорошо, что Тьери не видел. Какой стыд. Этот ангел — простая статистка. Она, наверно, будет хвастаться, что держала Люку за голову, что Люку тошнило, что Люка назвала ее ангелом-хранителем. Но до Тьери это вряд ли дойдет, а до остальных ей нет дела.

Она переодевается, ей надо разыскать Тьери. Но он сам приходит за ней.

— Я жду тебя, — говорит он, — мы поедем домой.

Пуховка падает на ее колени.

— Как, твоя мать уже уехала?..

— Я объясню тебе, — говорит он коротко. — Я подожду тебя в коридоре.

И он выходит. Если бы он сказал ей это до съемки, она стала бы настоящим ангелом, она спела бы по-ангельски небесную песню, ему не пришлось бы бесконечно возиться с ней. Сам виноват, почему не сказал сразу? Она надевает шляпу, надвигает ее на лоб. И этот жест вдруг поднимает в ней смятение. «Я объясню тебе», — сказал Тьери. Объясню. В объяснении всегда скрывается неясное, то, что надо выяснять, в неясности всегда опасность. Она берет перчатки, она выходит.

Тьери идет ей навстречу с другого конца коридора. Не глядя на него, по биению своего сердца она чувствует, как расстояние между ними уменьшается. Еще шаг, и он подойдет вплотную к ней, и сердце ее оборвется. Но он не делает этого последнего шага, он останавливается на расстоянии этого шага. Между ними можно пройти, не задев их, они рядом и далеки друг от друга, он не берет ее тесно под руку, как прежде.

— Идем, — говорит он. И они идут к выходу, они садятся в автомобиль.

Какая знакомая дорога. Сколько раз они вместе ехали по ней. Он чувствует ее встревоженный взгляд и поворачивает к ней свое сияющее, напряженное лицо.

— Твоя мать уехала? — спрашивает Люка.

— Нет, — улыбка его становится еще ярче, почти нестерпимо яркой. — Нет, не уехала. И она просила меня, — он останавливается, — ты должна понять, ты не огорчишься? Она просила меня, она едет в Швейцарию, — он снова останавливается. — Я повезу ее на автомобиле, — быстро добавляет он. — Мы выезжаем с ней завтра утром.

— А я? — это не вопрос, это крик забытого в горящем доме, из которого других уже вынесли пожарные. — А я?

— Ты поедешь поездом вместе с Давиэ и артистами. Поездом даже лучше, не так утомительно. И быстрее. Вы отправитесь через четыре дня, к этому времени я уже буду в Венеции. Там встретимся. Мне самому досадно. Но что же я могу? Моя мать... она просила, — быстро и несвязно объясняет он.

Люка слушает. «Это будет, это решено, этого не может не быть». А вот оказывается... Они поднимаются в лифте, и лифт, как всегда, приветливо гудит: «домой, домой», но теперь это звучит насмешкой.

Лакей открывает дверь и кланяется. Люка краснеет — он не может не знать, что ее выгнали отсюда.

— Собери свои вещи, — говорит Тьери, — все, что тебе понадобится для Италии. Я тоже буду укладываться.

Лакей приносит чемоданы, кладет на диван вперемешку его костюмы и ее платья. Будто они едут вместе. Тьери становится на колени перед ее чемоданом (перед ней он никогда не становился на колени): «Подожди, Люка, я уложу тебя сам». Это очень большая, это невероятная услуга, каким виноватым он чувствует себя, если готов даже на это. Она не мешает, ей все равно. Ничто уже не может ни обрадовать, ни огорчить ее. Она даже не в состоянии оценить его любезность. Он быстро, со всей своей точностью и аккуратностью, укладывает ее чемодан, будто всю жизнь был упаковщиком. Все ее вещи, до последней пары чулок, до последней зубной щетки и губки, чтобы и духа не осталось, чтобы ничего не напоминало о ней в его доме. Она видит, она понимает. Из Венеции она уже не вернется сюда. Здесь ни ей, ни ее вещам места больше нет. Шкафы слишком тесны для его костюмов и ее платьев, диван слишком узок, чтобы спать на нем вдвоем. Она смотрит на диван. Как странно, что он все такой же — мягкий, серый, шелковый. Не покрылся ржавчиной, не покоробился после той последней ночи, когда Тьери ушел спать в кабинет. Тогда она думала, что она несчастна, что нельзя быть несчастнее, теперь она знает, что это еще не было несчастье. Ведь Тьери спал за стеной, дышал одним воздухом с ней, она могла видеть его, говорить с ним. Он был тут он присутствовал — это было почти счастье. Вот оно, настоящее несчастье, настоящее горе, не одиночество вдвоем, а просто одиночество. Он уезжает, она остается. Кончено.

— Кончено, — весело говорит Тьери и встает. — А мои вещи уложит слуга.

Ей хочется уложить их самой, потрогать, погладить в последний раз его галстуки, рубашки, пиджаки. Но она не смеет попросить об этом. Она тоже встает, она подходит к нему, она еще не знает, что скажет. Лучше ничего не говорить. И вдруг, будто ее толкнули в спину, тяжело падает ему на грудь, обхватывает его шею руками, повисает на нем, как пальто на вешалке. Сейчас он оттолкнет ее. Но он стоит прямо и неподвижно, точно не решаясь ни обнять, ни оттолкнуть ее.

— Тьери, — громко кричит она и уже не может удержать крика. — Не уезжай, не уезжай, Тьери, — она прижимается, прилипает к нему крепче, еще крепче, чтобы он не мог отодрать ее от себя, чтобы она приклеилась, срослась с ним своим платьем, своей кожей... — Не уезжай.

Но он осторожно и твердо отстраняет ее от себя, ей кажется, что куски ее кожи, куски ее платья остались приклеенными к нему. Ей больно, она кричит. Он усаживает ее в кресло.

— Я сейчас дам тебе брому. Какая ты нервная, ты переутомилась.

Он ходит по комнате своей легкой, быстрой походкой, он взволнован, испуган. Он дает ей бром, и она послушно пьет. Соленый, как слезы. Ей кажется, что она глотает слезы, запасы реки слез, которые все придется выплакать потом, капля за каплей, когда она останется одна. Она прижимает руку к груди, к месту, с которого сорваны платье и кожа, которое болит. Тьери гладит ее по голове.

— Успокойся. А потом мы поедем обедать.

И они едут обедать. Незнакомый нормандский ресторан. В большом кирпичном полукруглом камине жарятся на вертеле цыплята и утки. Она смотрит на огонь, на уток и цыплят на вертеле, ей почему-то становится неприятно. Эти жарящиеся утки и цыплята чем— то напоминают ей о собственной судьбе. Это ощущение смутно, она не может разобраться, ей некогда. Но на уток смотреть неприятно. Скатерти клетчатые, и почти темно. Тьери нарочно привез ее сюда. Здесь не видно, какое у нее несчастное, заплаканное лицо, и ему не стыдно за нее. Они обедают, может быть, в последний раз.

— Мы обедаем в последний раз, — говорит она медленно.

Он удивленно смотрит на нее, и она добавляет: «До твоего отъезда». Он кивает: понятно, раз он едет завтра. Об этом не надо говорить. Зачем? Разве что-нибудь поправишь? Она на минуту вспоминает свой последний обед с Павликом. Вот и она на месте Павлика. Но как это больно и страшно.

Тьери заказывает ей ее любимые блюда, старается занять ее: «Когда мы вернемся из Венеции...» Вернемся из Венеции? Венеция, бывшая для них мечтою, блаженством, становится обыкновенным, будничным городом. Приехали, уехали... «Когда мы вернемся, я подарю тебе брошку». Ах, эта брошка! Она совсем не нужна больше Люке — чтобы подсластить разрыв — разрывной подарок.

Она поднимает голову, смотрит в его светлые глаза. Пламя камина бросает теплый отсвет на его лицо, и от этого оно кажется человечнее, мягче. Может быть, не все еще потеряно, может быть, он поймет.

— Тьери, — говорит она совсем тихо, — я так люблю тебя, я не могу жить без тебя.

Он улыбается своей электрической, невыносимой улыбкой. Он не понял, напрасно. Он ответит: «Кто же тебя заставляет жить без меня?» — или: «Тебе и не придется жить без меня» — вежливо, уклончиво, лживо. Но нет, он не хочет лгать, она ошиблась. Он отвечает: «Как ты нервна. Ты страшно переутомилась. Тебе надо хорошенько отдохнуть». И ни слова о том, что она не может жить без него, — не слышал, не принял. Недолет или перелет. Ответа не будет. Она на минуту закрывает лицо руками жалким потерянным движением. Он старательно режет мясо, нагнувшись над тарелкой, и ничего не желает замечать.

— Тебе надо пораньше лечь сегодня. И мне тоже. Мы выезжаем в шесть часов.

Какое жестокое «мы», прежде «мы» значило всегда Люка и Тьери.

— Значит, я завтра не увижу тебя?

— Ну конечно нет. Но через пять дней мы снова встретимся. Ты не должна так огорчаться.

Он провожает ее домой. Последняя, совсем слабая надежда.

— Ты не зайдешь ко мне, на минуту? Проститься?

— Нет, уже поздно.

Он должен еще заехать к матери. Он целует ее белую перчатку.

— До свидания, до Венеции.

Он поднимает руку фашистским жестом в знак приветствия — viva Itаliа[[14]](#footnote-14) и, не дождавшись даже, пока она войдет в отель, отъезжает. Швейцар толкает перед ней вертящуюся стеклянную дверь, но Люка поворачивается, выбегает на улицу. Его автомобиль еще виден, черный лакированный, тускло поблескивающий в свете фонарей. Вот он резко заворачивает за угол, на мгновение в окне мелькает вытянутая рука Тьери. И вот его уже нет. И вот ни от автомобиля, ни от Тьери ничего не осталось, кроме воспоминания.

Телефон тихо звонит мягким отельным, благовоспитанным звоном, скорее шипом, и все-таки Люка просыпается и открывает глаза. Тьери уехал, это не Тьерри. Она медленно вынимает руку из-под одеяла, медленно снимает трубку. Кто, зачем, почему? Ей хочется спать. Отстаньте, пожалуйста. Ей так тяжело возвращаться в действительность, в одиночество, в горе.

Это Герэн. Он случайно узнал ее адрес. Он просит ее покататься с ним — «сегодня такая чудная погода».

— Оттого что хорошая погода? А если бы шел дождь?

Герэн смеется:

— Я вас очень прошу.

Она еще не одета. Ничего, он подождет. Он настаивает, он умоляет, и она соглашается. Хуже не может стать. Пусть заедет за ней через час. Ей все равно. Хуже от этого не станет. Она одевается, Тьери уже в Швейцарии. Он прислал ей телеграмму.

— Excellent voyage. Salutations[[15]](#footnote-15), — говорит она, входя в ванную и насмешливо кивая себе в зеркале.

Все, что он нашел для нее. И это уже много. «Salutations», — говорит она своим туфлям, надевая их на ноги. Лучше бы уже ничего, чем такая телеграмма. Ей не хочется кататься с Герэном, ей ничего не хочется. «Тьери, Тьери!» Герэн увидит, что у нее красные веки, а он и так, должно быть, уже знает, что Тьери бросил ее. Снова шипит телефон. Герэн ждет внизу. Она надевает пальто из белого жеребенка, белую замшевую шапочку. Тьери научил ее одеваться, как полагается кинематографической звезде — очень просто и очень заметно, в ложно-спортивном стиле. Но к этому пальто и этой шапочке совсем не идет ее грустное лицо. Можно улыбаться, когда хочется плакать, можно смеяться, когда хочется кричать. Это совсем не трудно. Надо только приподнимать верхнюю губу и опускать веки, прикрывая несчастные глаза. Выходит очень хорошо, она пробовала перед зеркалом. И она, улыбаясь, выходит к Герэну. «Salutations, — говорит она. — Какое безвкусное, глупое слово, неправда ли?» Он не отвечает, он целует ее руку, смотрит на нее.

Они впервые вдвоем, и он взволнован. Знакомым ей движением он касается сердца или бумажника.

— Как я счастлив, что вы согласились.

«Счастлив“ кажется ей неуместным. „Рад“, — поправляет она. Если бы вы не позвонили, я не встала бы сегодня совсем» — этого говорить не следовало. Она выдает себя, свое горе. «Мне было лень вставать, я так устала». В усталость он не поверит. Только бы он не спросил о Тьери. Но о Тьери он не спрашивает, точно вообще нет никакого Тьери. Он говорит о ней, о том, как давно он хотел вот так сидеть с ней вдвоем... Неужели? С такой несчастной, убитой, потерянной Люкой? Она смеется. Она сама удивляется, как легко ей смеяться. И все ей кажется смешным. Даже она сама. Этот Герэн очень милый, и какие у него молодые глаза. Он, кажется, даже робеет. Несмотря на свои миллионы. Но ведь он мог бы для своего развлечения отлить такую, как она, из золота, в настоящую величину, чтобы покататься в ее обществе один раз. Такой богатый. Странно, что на нем обыкновенный костюм и галстук. Он похож на банковского служащего за конторкой, на кассира или бухгалтера. Никакого величия.

— Вы, должно быть, замечательный человек, — она убеждена в этом, иначе как бы он заработал столько денег. — Расскажите мне о себе.

И он охотно рассказывает. Все с самого детства. Детство как детство, его можно было бы пропустить. Но ему хочется быть откровенным. Ей все равно. Она слушает. Все-таки это мешает думать о Тьери. Она слушает, она почти не думает о Тьери. По рассказам Герэна, он очень легкомысленный и обыкновенный, но ему везло. Только удача и риск. Но разве этого достаточно, чтобы создать золотые горы, золотой дождь, чтобы превращать в золото все, к чему он прикоснется? Он все рассказывает, но она больше не следит. Мысли уносят ее за Тьери, по следам его шин, в Швейцарию. Довольно уже, она верит и так. Удача, риск... она поняла. Герэн делает паузу и вдруг говорит:

— Я влюбился в вас с первого взгляда, и вот наконец... — он сбивается, он снова касается сердца или бумажника. — Да, я влюблен...

Это доходит до ее сознания — «влюблен», «любовь»... Все, что касается любви и горя. Она слушает. Какой он романтичный.

— Я теряю голову...

— Нет, не надо терять эту лысую, умную голову.

Она улыбается. Ведь это не так уже неожиданно: Тьери часто смеялся, что Герэн влюблен в нее. Он даже говорил, что ревнует. Но она не ждала влюбленности. Она думала, что Герэн практичнее, реальнее. Он, кажется, действительно влюблен. Тьери ревнив. Ревность может вернуть любовь. Риск, удача. Терять ей нечего. Тьери уже потерян. Но удача и риск.

— Я хочу только немного нравиться вам.

— Вы мне очень нравитесь.

Он краснеет. Такой, как он, и краснеет.

— Что же вам нравится во мне?

Он берет ее за руку. Она не отнимает руки.

— Ваши глаза (это правда), то, что в вас столько молодости, несмотря на годы. И главное — что вы такой богатый.

— Богатый? — переспрашивает он.

Она кивает. Кажется, этого говорить нельзя, не принято. Богатство — это власть, и сила, и знаменитость. Все сразу.

— Вы обиделись?

Нет, он совсем не обиделся. Но он становится менее разговорчивым, менее восторженным, еще более влюбленным, немного грустным. С ним очень приятно. Они катаются по Булонскому лесу, потом пьют чай в Сен-Клу. Объяснения в любви, обещания верности. Немного смешно, немного трогательно, совсем не противно. Она сама расскажет Тьери, покажет ему брошку, огромную брошку.

Герэн робко обнимает ее, и она не отталкивает его. Он целует ее в щеку.

— Я вам не очень противен?

Они проезжают мимо цветочного магазина.

— Позвольте мне купить вам роз.

Но она качает головой.

— Нет, не надо цветов.

Пусть он лучше купит ей брошку. Ему ведь безразлично, что купить. А ей давно хочется большую бриллиантовую брошку, у нее нет никаких драгоценностей. Она говорит это просто, безо всякого стеснения — не все ли равно, раз он так богат и хочет сделать ей удовольствие.

И он принимает ее желание так же просто.

— Хорошо, — говорит он. — Завтра поедем покупать. Но розы вы должны взять.

И он покупает ей целый ворох красных роз.

Он довозит ее до отеля.

— До завтра. Я утром позвоню.

Он стоит на тротуаре, лысина его поблескивает.

— Спасибо, это самый счастливый день, — он задумывается, подсчитывает, — за десять лет, — он целует ее руку. — Да, безусловно, за десять лет.

Ночью ей снится брошка. Она в Италии, она в поезде. Сколько птиц и деревьев. Но Тьери не снится ей. Тьери никогда не снится ей. Будто он не хочет войти даже в ее сны.

Она просыпается поздно. Сейчас позвонит Герэн. Она одевается, стараясь думать только о брошке: «У тебя нет никаких драгоценностей» — а вот будут. И не от Тьери. Она представляет себе, как она распахнет пальто и Тьери впервые увидит брошку.

— С фальшивыми драгоценностями не надо преувеличивать, — скажет он насмешливо.

Она кивнет.

— Я никогда бы не надела такую большую фальшивую брошку.

Это будет минута ее торжества. Потом она вернет брошку Герэну. Брошка нужна ей, только чтобы поймать Тьери. Рыбу ловят на червяка, Тьери — на ревность, на брошку. Брошка только приманка, но не для нее, для Тьери. Он рассердится, он заставит ее вернуть брошку Герэну. Нет, о Тьери лучше не думать. Покупать брошку с заплаканными глазами неприлично. Ах, ей совсем не нужна брошка. Только чтобы показать Тьери. Только чтобы вернуть Тьери, Тьери, Тьери, Тьери.

— Я в отчаянии, — говорит глухой голос Герэна. — У меня грипп. Я не смогу выйти из дома. Простите меня, ради Бога. У меня жар.

— Мне очень жаль, — отвечает она.

Ей действительно очень жаль. И как же брошка? Но о брошке она молчит. Она желает ему скорее поправиться.

— Я уезжаю послезавтра в Италию.

— Я так надеялся...

Он, этот Герэн, тоже надеется. Все надеются, каждый на свое. Она вздыхает. С брошкой было бы легче ждать, легче надеяться. Но зато теперь можно плакать — ни Герэн, ни ювелир не увидят.

Герэн обещал позвонить завтра. Но назавтра он не звонит. Не звонит ни утром, ни в полдень. Люка ждет. Она сидит в зеленом кресле и ждет. Почему ей всегда приходится ждать? Почему не другие ждут, а она? Даже этого влюбленного Герэна, и того ждать? Уже пять часов. Может быть, он очень болен и действительно не может позвонить? Он такой аккуратный, вежливый, влюбленный. Да, должно быть, он очень болен. Она сама позвонит ему. Она поедет навестить его. Как он обрадуется. И ей необходимо увидеть его, поговорить с ним. Она не может больше оставаться одна со своим горем. Ей надо, чтобы кто-нибудь был с ней, говорил, улыбался, смотрел на нее, чтобы он дышал, чтобы у него были теплые руки.

Она звонит Герэну.

— Говорит Людмила Дэль. Как здоровье директора Герэна?

— Людмила Дэль? — переспрашивает молодой, срывающийся голос. В трубке легкое щелканье, будто кто-то вздохнул, и сейчас же быстрый ответ: — Спасибо, мой отец здоров.

— Но разве он не был болен?

— Нет, отец здоров. Он дома, я его сейчас...

— Не был болен?

Люка не успевает понять, она уже слышит голос Герэна.

— Вы меня простите, я был очень занят, не успел вам позвонить.

— Но вы ведь больны?

— Нет, это была ложная тревога. Прошло. Но я так страшно занят, ни минуты времени.

Она все-таки предлагает.

— Хотите обедать вместе?

— К сожалению, не могу, — голос его звучит вежливо, но решительно.

Но она настаивает.

— Ведь я уезжаю завтра, и мне очень скучно. Устройтесь как-нибудь.

Она вдруг чувствует, что совсем не может пережить этот одинокий, страшный вечер. Она цепляется за Герэна.

— Пожалуйста, я очень прошу.

Но он отказывается.

— Мне бесконечно жаль, но я занят.

Она чувствует, что ковер начинает колыхаться под ее ногами, что у нее больше нет ни гордости, ни сдержанности, что она уже не владеет собой.

— Послушайте, — слезы текут из ее глаз, мешают ей говорить, — вы не знаете, я очень несчастна, Тьери бросил меня. Я не могу быть одна. Приезжайте, ради Бога.

Но его голос еще холоднее, еще вежливее.

— Мне очень жаль. Я не знал. Надеюсь, это только короткая размолвка.

— Нет, нет, — перебивает она. — Совсем бросил.

И вдруг с ужасом понимает, что это правда, что Тьери действительно бросил ее совсем, и никакая брошка, никакая ревность уже не помогут.

— Пожалейте меня, приезжайте ко мне, умоляю вас.

Так униженно она не просила даже Тьери.

— Вам надо успокоиться, лечь, принять валериановых капель. Уверяю вас, что я не могу приехать.

Она молчит, она не может говорить, она только всхлипывает. Оттого, что она наконец ясно поняла, что Тьери совсем, навсегда бросил ее, оттого, что она, поняв это, не может остаться одна. Герэн молчит с минуту.

— Вы слушаете? Желаю вам счастливого пути. В Венеции вы, конечно, помиритесь. Венеция — рай для примирений. Желаю вам удачи и очень жалею.

Она слышит гул в ухе, значит он повесил трубку. Он не придет, и никто не придет. Ей некуда пойти в этом огромном Париже. Она одна. Она наконец вешает трубку.

— Какой стыд, — говорит она себе, — какой позор — так унизиться. Просить о жалости, а жалости нет ни у кого.

Она не чувствует ни стыда, ни позора. Только горе и странный вкус во рту. Она встает. Надо поехать в магазин купить чемодан. У нее еще Павликовский дешевый, потрепанный. Она открывает шкаф, достает пальто — как сильно оно надушено. От запаха духов ей становится дурно — пот выступает на лбу, колени становятся мягкими, будто они из ваты. Она мягко, как подушка, падает на пол вместе с надушенным пальто. Остальное — тишина, остальное — темнота. Все исчезает — свет, и шум, и боль. Ничего нет.

— Умираю, — смутно соображает она и, собрав остатки сил, тихо зовет: — Тьери. Тьери.

Дрожащий голос Люки всхлипывает:

— Ради Бога, умоляю вас. Приезжайте. Пожалейте меня.

— Мне очень жаль. Я не могу. Вы, наверное, помиритесь в Венеции. Венеция — рай для примирений.

Он ждет ее ответа, но она только всхлипывает. Он говорит холодно и жестоко, назло себе.

— Счастливого пути, — говорит он, отрезая себе этим пожеланием счастливого пути все пути к встрече с Люкой. — До свидания.

Она молчит, и он решительным резким движением вешает трубку, будто всаживает себе нож в сердце. Кончено. Навсегда кончено. Он стоит у стола. Ничего нельзя сделать, игра проиграна раз навсегда. Он не может приехать к ней без брошки. Если бы он вчера не обещал. Если бы он сказал — я подыщу к вашему возвращению. Но теперь, после этого разговора... Быть полгода влюбленным и в день, когда услышишь «умоляю вас, приезжайте», ответить отказом.

Еще вчера все казалось простым. Чтобы ему, Герэну, отказали в сорокатысячном кредите, чтобы не взяли его вексель... Он давно знал, что он разорен, но до разговора с ювелиром это было какое-то абстрактное знание, не входящее в жизнь, знание на бумаге, на словах. В жизни все шло по-старому. Он все еще жил в собственном особняке, пусть перезаложенном, с собственными слугами, пусть неплачеными, с автомобилем, с дочерью, будто ничего не случилось. Жил в долг, но жил по-прежнему. И его лошади по-прежнему скакали в Лоншан и Отей. Конечно, он был разорен, но свое разорение он почувствовал только вчера после разговора с ювелиром. Очень вежливого, очень решительного, очень унизительного разговора.

Он сидит у своего письменного стола, в своем кабинете, прямой, подтянутый, в белом крахмальном воротнике, в черном костюме, похожий на кассира, на кассира, которого судят за растрату. Он смотрит в окно на голые ветки своего дерева. Это все еще принадлежит ему. Нет, ничто уже не принадлежит ему. Ни здесь и нигде. Это только декорация, как в студии, он только актер, разыгрывающий роль банкира. Актер? Нет, он даже не актер, он лишь изображение актера, проходящее на экране. Его вовсе нет больше, он уже не существует. Он бывший человек, благодаря какой-то неправильности механизма еще случайно удержавшийся на земле, в Париже, в этом особняке. Бывший, конченый человек. Легкомыслие, удача, риск, которые всю жизнь работали на него, вдруг объявили забастовку, модную забастовку на месте — Greve sur le tas[[16]](#footnote-16). Они еще здесь, в его доме, хоть и не работают больше на него. Но от их присутствия все как-то еще движется, вернее делает вид, что движется.

С тех пор как двадцать два года тому назад он занялся поставками на войну, поняв «некоторые экономические причины и следствия», как он насмешливо говорил, деньги его все увеличивались и увеличивались. Они так быстро, так стремительно умножались... Легкомыслие, риск и удача, как музы, летали над ним, голубями вились вокруг него, мягким ковром ложились ему под ноги. Двадцать два года. А теперь вот они спят в углу кабинета, нежно обнявшись и прижавшись друг к кругу. Спят или, может быть, умерли.

Это началось приблизительно со знакомства с Людмилой Дэль, с влюбленности в нее. Когда он понял, что даже стараться не стоит, что она просто не замечает его, как не замечает никого, кроме Тьери. Если бы он тогда вступил в борьбу с Ривуаром из-за нее... Но его легкомыслие впервые изменило ему, он впервые поступил благоразумно — он отступил без боя. Он не хотел ни легкомыслия, ни риска, и удача отступила от него, обиделась за своих сестер, они все втроем обиделись.

Он вдруг стал терять деньги легко, так же легко, как зарабатывал, только еще быстрее. Так быстро, что даже не мог уследить, как будто это были не золотые, а ледяные горы и они таяли на солнце. И теперь вот растаяли совсем, превратились в большую лужу. Как раз в тот день, когда Людмила Дэль умоляла его прийти. Если даже нырнуть на дно лужи, там не найдешь брошки. А без брошки, без брошки, которую он обещал ей, прийти нельзя. Такой пустяк — брошка за сорок тысяч, и все рухнуло.

Он сидит у окна. Он чувствует свой череп, свои ребра, свой позвоночник. Будто у него уже нет тела, остался один скелет, и только в груди, под ребрами еще висит, зацепившись за ребра, сердце, и бьется, и болит. Катастрофа, крах всей жизни, всех надежд, последней надежды — надежды на Людмилу Дэль.

Серый ангорский кот мягко прыгает ему на колени. Это его единственный друг, его одного он любит. Он один понимает его, сочувствует ему. Он прижимается лысой головой к его пышной, мягкой шерсти.

— Гаргантюа, друг мой, тебе жаль меня?

Кот мурлычет, выгибая спину.

— Все погибло, Гаргантюа.

У него нет никого на свете, кроме этого кота. Его он унесет отсюда, его никто не отберет от него. Всё продадут с торгов, и лошадей тоже. Но кота оставят ему. И это справедливо — кот ему дороже всего на свете. Дочь? Нет, дочь совсем чужая, он никогда не любил ее. И она, наверно, станет врагом, когда узнает, что она нищая, что у нее нет приданого, нет возможности выйти замуж за какого-нибудь герцога. А с котом они не расстанутся никогда. Даже если придется ночевать под мостом.

— Гаргантюа, бедный, бедный, — Герэн плачет.

Конечно, ему жаль себя, но он не стал бы плакать над собою. Но Гаргантюа... слезы бегут по его щекам, по его накрахмаленному, блестящему воротничку, падают на усатую морду кота. Кот фыркает и вытирает лапкой нос.

— Гаргантюа, прости меня, — и вдруг громко говорит: — Прости меня. Простите меня, — это относится к Людмиле Дэль, хотя конечно, она никогда не простит. Не сможет понять, не сможет простить.

В комнате совсем темно. Он сидит, не зажигая света, держа кота на коленях. Он плачет так, как плачут только старики и маленькие дети. Плачет впервые за свою удачную, бессмысленную жизнь. Лакей докладывает, что обед подан.

— У меня болит голова. Потушите люстру, — приказывает Герэн лакею.

В большой столовой почти темно. Торжественно и церковнопышно горят свечи в высоких серебряных канделябрах, отражаясь в хрустальной вазе с красными розами. Совсем такие розы он купил позавчера Люке. Они, должно быть, еще не увяли. В этих свечах и розах какая-то обманная праздничность. Но это будничный обед. Самый скучный, самый несчастный обед.

Напротив Герэна, на стуле с высокой спинкой, держась очень прямо, сидит его дочь Лоранс. Лакей наливает суп. От миски идет пар. Но это только декорация. Только декорация последнего акта разорения и катастрофы. Герэн видит, как суп, зачерпнутый разливательной ложкой, наполняет тарелку. Совсем как настоящий, но это только кажется. Второй лакей ставит перед ним тарелку. Герэн подносит ложку ко рту. Суп горячий, соленый, и это удивляет Герэна. Ведь теперь, когда все как во сне, еда не должна иметь вкуса. Нет, такой реальный, горячий, трудноглотаемый суп он не станет есть. Ему неприятно все. Ему неприятен суп и лакей, неприятна Лоране, неприятно, что она сидит здесь и внимательно смотрит своими серьезными детскими глазами, неприятно, что она похожа на свою мать. На свою мать и его жену, которая тоже была ему всегда неприятна, несмотря на то что была хорошенькая и с деньгами. Из-за этих денег (не очень больших) он и женился на ней. Из-за этих денег он и не мог ее полюбить. По его понятиям, любить можно было только женщину, которой даешь деньги, женщину, от которой берешь деньги, любить нельзя. Но она, его жена, любила его. И она требовала от него любви и верности. Он ясно помнит, как пятнадцать лет тому назад, узнав об его измене, она широко открыла рот и как этот круглый открытый рот, черная дыра на совсем белом лице, был ему противен и страшен. И самое противное и страшное было то, что из этого черного открытого рта не вылетело ни одного звука. Она высоко подняла обе руки над головой, она постояла так с минуту в странной, почти танцующей позе и вдруг, закачавшись, грохнулась на пол. И только после того, как он поднял и уложил ее на диван, она заплакала и сказала: «Ты погубил мою жизнь, я тебя ненавижу». С этого дня она стала его врагом. Близкие человека всегда его враги. И теперь настает день, когда врагом станет и Лоранс. Она, наверно, так же, как мать, беззвучно откроет черный рот, так же упадет, так же обвинит его в том, что он погубил ее жизнь, и ему будет так же противно и страшно.

Ее мать хотела верности и любви. Лоранс хочет денег и замужества с каким-нибудь графом или герцогом, как все. Чего же ей еще хотеть? Это естественно. И она станет его врагом. Он смотрит на нее, он не любит ее, он совсем не знает ее, и все-таки ему неприятно, что она скоро возненавидит его, он уже сам почти ненавидит ее за ее будущую ненависть к нему, за свое будущее унижение перед ней. Она скажет: «Ты испортил мою жизнь. Я тебя ненавижу». Хорошо еще, что она молчит сейчас.

Лоранс чувствует на себе взгляд отца. Она робко улыбается ему, улыбкой прося у него прощения за то, что она не знает, что сказать ему, за то, что она не любит его. Не любить отца — это кажется ей безнравственным, преступным, это мучает ее. Но как полюбить такого чужого, самодовольного, удачливого отца? У нее еще нет ясных мыслей и взглядов на жизнь, у нее только ощущения жизни и зла мира, смутное чувство ответственности. Ответственности за все — за нищего на углу, за крушение поезда, за раздавленную чужим автомобилем собаку, даже за дождь. Вечное чувство вины перед всем. И недовольство своей судьбой и богатством своего отца. Главное, недовольство богатством, ненависть к богатству, полное отталкивание от всего, что дорого стоит. В детстве не исполнившаяся мечта о заплатанных локтях, о заштопанных чулках, о дешевом волчке. Игрушки сыпались на нее с механической точностью, очень дорогие, очень сложные и нелюбимые. Главное, куклы, дюжины кукол. Платья, и шубки, и башмаки были постоянно новые, к ним даже нельзя было привыкнуть, сжиться с ними. Едва только какая-нибудь шляпа или перчатки теряли безличность, как их уже выкидывали, заменяли новыми. Богатство казалось стеной, отделяло ее от настоящей жизни. Там, по ту сторону стены, люди трудятся, борются за существование, — но она выросла в богатстве. Тень этого богатства легла черным пятном на ее детскую душу. У нее было целых две враждовавшие между собой гувернантки. Лоранс казалось, что они только притворялись, что враждуют. Что на самом деле гувернантки были союзницами против нее, Лоранс, их общего врага. Но так как Лоранс была не только врагом, но и средством для существования гувернанток, то вступить с ней в открытую войну нельзя было и понадобилось изобрести тактику взаимной вражды, прикрывая ею общую ненависть к Лоранс.

Потом, когда она поступила в лицей, богатство еще тяжелее стало давить ее. «Зачем ты зубришь? — спрашивали подруги. — Тебя и так не посмеют провалить на экзамене. И на что тебе диплом? Ведь ты богата, тебе не придется работать. Ты могла бы не быть такой хорошенькой и все-таки прекрасно устроить свою жизнь. При твоем богатстве ничто не имеет значения». Да, ничто не имело значения, только деньги ее отца. Она была дочерью, наследницей Герэна. Больше ничем. Сама по себе — ничем. Ее не замечали. Богатство прятало ее, как чадра турчанку, от чужих глаз. Никому не было дела, умна она или глупа, добра или зла. Ей льстили, ей угождали из-за денег ее отца. Она стала скрытной и застенчивой. Подруги смеялись над ней: «У тебя от богатства развился комплекс малоценности». Она стыдилась богатства, как стыдятся бедности — стыдилась своих дорогих платьев, автомобилей, скаковых конюшен отца и этого дома. В шестнадцать лет у нее не было ни кокетства, ни желания нравиться. Только желание остаться по— прежнему незамеченной, не обращать на себя внимания.

Она ненавидела свою внешность. Хорошенькая. Отвратительное, пошлое слово, которым ее часто награждают на улице прохожие. Если бы она была уродом или красавицей. Богатые могут быть только или красавицами или уродами. А такие, как она, теряют последнее от богатства, становятся смешными. Она чувствовала это, и боязнь стать смешной делала ее еще более робкой и растерянной.

Весной она кончила лицей. С тех пор она живет, ничем не занимаясь, ничего не желая, никого не любя. Учиться дальше она не захотела. К чему? У нее нет никаких особых способностей. Она не музыкальна, она посредственно рисует. Из всего этого не может выйти толк. Настоящих подруг у нее нет. Единственное, что нравится ей, — это плавание. Но нельзя же целый день проводить в бассейне. День длинный, одинокий, пустой. Ей хочется работать, но чтобы работа действительно приносила пользу, а не так, зря. Быть бедной. По ночам она мечтает о счастливой бедной жизни. Они живут с отцом в маленькой квартирке. Она служит дактило. Вечером, возвращаясь домой со службы, она покупает отцу папиросы и шоколад. Он сам отворяет ей дверь... он ждет ее... он целует ее. Он больной, он старый, он уже не может работать. Как он благодарен ей. Что бы он стал без нее делать? Она вынимает из кармана папиросы, шоколад. Она бежит на кухню, надевает передник, жарит яичницу, ставит на покрытый пестрой клеенкой стол литр красного вина, и они весело обедают. Весело, а не так, как сейчас, в этой огромной мрачной, торжественно-скучной столовой.

— Тебе звонила Людмила Дэль? — спрашивает Лоранс.

Людмила Дэль — самая восхитительная женщина на свете. Лоранс видела ее на скачках. Она стояла рядом с Ривуаром в горностаевой шубке. У нее был такой нежный и гордый вид, она была похожа на Снегурочку. Лоранс ничего не видела в тот день — ни скачек, ни публики. Только ее — Людмилу Дэль.

— Да, — отвечает Герэн, — Людмила Дэль звонила мне. Она завтра едет в Венецию и хотела проститься.

— В Венецию?

Лоранс старается представить себе эту прелестную Людмилу на венецианской площади, среди голубей.

— Это правда, что она бросила мужа для Ривуара?

Герэн морщится.

— Что за вздор. Глупые сплетни. Да, она разошлась с мужем, совместная жизнь мешала ее карьере. Ривуар, конечно, влюблен в нее, но она не обращает на него внимания, — по его словам выходит даже, что если Люка кем-нибудь интересуется, так это им, Герэном.

Лоранс слушает.

— Ах, она так нравится мне. Нельзя ли когда-нибудь пригласить ее к нам?

Герэн кивает.

— Конечно, можно, когда она вернется из Венеции.

— И ты думаешь, она действительно придет?

Лоранс краснеет. Неужели Людмила Дэль может прийти к ним? Она, окруженная влюбленностью, поклонением, у которой каждая минута на счету, найдет время для них? И она будет сидеть здесь?

От одной этой мысли эта ненавистная столовая как-то вся преображается, уродство скуки, лежащее на стенах и на предметах, превращается в прозрачную тень, будто сияние прелести Людмилы Дэль уже осветило все кругом. Она войдет в этот дом, она будет сидеть здесь. На минуту это кажется Герэну совсем возможным. Она войдет в этот дом навсегда. «Вы очень нравитесь мне», — сказала она.

Герэн смотрит на Лоранс улыбаясь.

— Конечно, придет, — говорит он ей и себе. Мысль о Люке связывает их. Они взволнованы, на минуту они почти близки друг другу. Сейчас Лоране могла бы подойти к отцу, поцеловать его, и он нежно ответил бы на ее поцелуй.

Дверь отворяется, входит лакей.

— Госпожа Дэль у телефона.

Герэн быстро отодвигает стул и встает. Но перед глазами, как большой сверкающий паук, перебирая бриллиантовыми лапками, пробегает брошка. Брошка, которой нет, которую нельзя достать.

— Скажите, что я вышел, — говорит Герэн и снова садится.

— Папа, — вскрикивает Лоранс, но, взглянув на его побледневшее лицо, прикусывает губу. Больше до конца обеда они не говорят ни слова.

Герэн снова возвращается в кабинет. Слуга докладывает, что на чердаке поймалась мышь. — Прикажете принести?

— Да, принесите, — вот сейчас поохотится Гаргантюа, сейчас повеселится.

Слуга возвращается с мышеловкой. Маленькая дрожащая мышь испуганно жмется к проволочной стенке. Она смотрит на Герэна затравленными круглыми, звериными глазами, уже сознавая, что спасенья нет. И вдруг он снова вспоминает Люку. Так, совсем такими же затравленными глазами, она посмотрела на него, садясь в автомобиль. Это длилось только мгновенье, она сейчас же улыбнулась и закрыла глаза, и он сейчас же забыл ее взгляд, но это был совсем такой же взгляд — затравленный, ожидающий гибели. Он быстро открывает дверцу, выбрасывает мышь на ковер. Серая черточка, как серая молния, мелькает на ковре, и мыши нет.

Второй лакей приносит кота.

— Опоздали к угощению, — насмешливо говорит Герэн коту. Он со злостью смотрит на кота, с той же злостью, которую он весь день испытывает к себе, будто он и кот чем-то связаны, в чем-то виноваты. Кот нервно обегает кабинет, обнюхивает мышеловку, и вдруг случается то, чего никто: ни лакей, ни кот, ни Герэн — ждать не мог.

— Прочь, — кричит Герэн и отбрасывает ногой его, Гаргантюа, единственного, дорогого.

И кот, ощетинившись, летит в угол, как огромная белая пуховка, и ударяется о кресло.

— Уберите его, — приказывает Герэн лакею, даже не взглянув на кота.

Люка открывает глаза и тихо зовет: «Тьери». Но Тьери нет. Она лежит на плоту, на доске, она плывет по зеленым волнам, и ветер дует ей в лицо. Как она очутилась здесь, на плоту? Кораблекрушение? Но о кораблекрушении она ничего не помнит. И где Тьери? Она вспоминает свой разговор с Герэном, и зеленые волны становятся ковром на полу. Ни ветра, ни плота больше нет. Но почему она упала в обморок? От боли, от обиды на Герэна? Она перенесла столько горя от Тьери, а вот обида от чужого человека и обморок. Она медленно встает. Нет, это не обида, это болезнь. Но ей нельзя болеть перед Венецией. Она сейчас же поедет к доктору. И она едет.

Через час она возвращается к себе. Она широко отворяет дверь, осторожно переступает порог, садится на диван, кладет подушку за спину. И улыбается. Как легко, как чудно все устроилось, а она уже начинала отчаиваться. Теперь надо только дождаться встречи с Тьери. Теперь он вернется к ней. И навсегда.

Она осторожно встает и подходит к зеркалу. Как жаль, что еще не видно, что надо будет сказать Тьери, что не он сам догадается. Нет, она не боится уродства, она не боится боли — раз эта боль, это уродство вернут ей Тьери. Вернут? Уже вернули. Тьери только не знает еще. Но они уже снова связаны так, как еще никогда не были связаны. Связаны их сыном.

— У нас будет сын, Тьери, — говорит она вполголоса и тихо смеется. — Подумай, твой и мой сын.

А она хотела поймать Тьери на ревность, как рыбу на приманку. О, какая глупая. Это тебе не брошка, не приманка. Это твой сын. И Герэн с его брошкой больше совсем не нужен. Она позвонит ему, она скажет ему. Она не хочет его видеть, но она хочет, чтобы он знал. Конечно, ей немного стыдно за истерику по телефону, стыдно и смешно. Она вызывает его номер. И ждет. Лакей отвечает, что Герэн вышел.

Она вздыхает. Ей так хотелось сказать: «Вы знаете, у меня будет ребенок». Впервые кому-то сказать про своего ребенка и этим как бы приблизить срок его рождения, утвердить его жизнь. Но так, может быть, еще лучше, она впервые скажет Тьери. Тьери первый узнает. Хоть и трудно, она будет молчать пока. Только с собой она будет говорить о своем сыне. Теперь ей больше не скучно одной. Да она уже и не одна теперь. Их уже двое, она и ее сын. Он тут, с ней, в ней.

Телефон звонит. Это, должно быть, Герэн. Но это не Герэн. Это Давиэ. Люка не забыла, что они завтра едут в Венецию? Конечно, нет. А не хочет ли Люка присоединиться к ним? Они все, путешественники, решили провести сегодняшний вечер вместе. Но Люка благодарит, Люка отказывается. Она ляжет пораньше, чтобы хорошенько выспаться перед дорогой. Тогда до завтра. Спокойной ночи.

Люка вешает трубку. Если бы Давиэ позвонил днем, когда она была несчастна и одинока. Так всегда бывает — богатым дают, от бедных отнимают. Все, даже лысого Герэна. Теперь Люка сама богатая, оттого ее и приглашают. Но ей не нужны теперь эти чужие лица и чужие голоса. Ей хочется побыть одной, чтобы хорошенько понять, свыкнуться, сродниться с радостью и ожиданием.

Она сидит в кресле, сложив руки на коленях, сосредоточенная, серьезная, улыбающаяся, переполненная ощущением чужой жизни в себе. Она долго сидит, глядя на зеленые складки оконной занавески, на полуувядшие розы, подаренные Герэном. Она думает о Тьери, о встрече с ним. Она раскачивается из стороны в сторону, убаюкивая себя и своего сына, прижимает руки к груди и вдруг тихо, нежно и жалобно начинает напевать детскую песню:

Был у Христа Младенца сад...

Когда Люка на следующий день приезжает на вокзал, Давиэ уже ждет ее на перроне.

Я беспокоился, что вы опоздаете, что вам трудно будет уложиться. Я хотел заехать за вами.

Они входят в вагон. Все уже в сборе. Люка знает их всех. Они вместе с нею играют в фильме. Арлетт Арвиль, ее соперница и предательница. Клод Гар, ее любовник. Жермена Жиль, ее сестра по фильму. Они все такие молодые, веселые. И как они много смеются — по всякому пустяку, без всякого пустяка смеются. Они как школьники, отправляющиеся в экскурсию. Без взрослых. Взрослый — Тьери. И Арлетт говорит:

— Хорошо, что Ривуар уехал вперед.

— Почему хорошо? — недоумевает Люка.

Арлетт краснеет и не отвечает. Да, они очень веселы. И Люке тоже становится весело. Она смеется вместе с ними. Они очень нравятся ей. Она работала с ними целую зиму и совсем не знала их. Они казались ей шумными, вульгарными, а они просто веселые, милые, молодые. И совсем не злые, не завистливые, как говорил Тьери.

Давиэ смотрит на нее.

— Вот вы какая. Вы казались мне такой сдержанной и гордой.

— И противной, — быстро добавляет Арлетт. — Да, Дэль, не сердитесь. Мы все вас терпеть не могли. А вы премилая. Хотите, будем друзьями?

Наивное «хотите, будем друзьями», протянутая рука, совсем как когда-то в школе. И Люка, пожимая протянутую руку, говорит совсем как когда-то в школе:

— Ужасно хочу. Со всеми вами хочу.

На ночь переходят в спальный вагон. Место Люки в одном купе с Арлетт, и это очень приятно. Так хорошо, что не надо расставаться с этим новым милым другом.

Арлетт долго возится возле умывальника, потом поворачивается к Люке.

— Как эта штука открывается?

Но Люка тоже не знает.

— Я никогда не путешествовала так роскошно, — сознается она. — Надо спросить у проводника.

— Нет, только не у проводника. Он сейчас же поймет, что мы за птицы и в каком классе привыкли ездить. Я позову Жермену.

Жермена, уже успевшая надеть китайский, расшитый драконами халат, открывает умывальник, гордясь своей опытностью.

— Вот, дети, учитесь жить. Видите, как просто. Я была еще гораздо наивнее вас три года тому назад. Даже войти в вертящуюся дверь не умела — совершенный увалень, — и она, смеясь, уходит к себе.

Люка уже лежит, но Арлетт еще вертится перед зеркалом, ощупывает все, проводит рукой по полированному дереву.

— Как красиво. Я так ждала этой поездки. А вы?

Люка кивает.

— И я...

Конечно, она ждала не этого. Нет — вдвоем с Тьери. Горы, солнце, коровы, снег, шоколад и Тьери, Тьери, Тьери сквозь солнце, горы, шоколад, Тьери плечом к плечу, молчаливый, веселый, усталый. Днем и ночью вдвоем, в Венецию, к крылатому льву[[17]](#footnote-17).

Но стоить ли объяснять Арлетт? Арлетт довольна всем: «Восхитительное путешествие». Она садится на диван к Люке и, хотя Люка ни о чем не расспрашивает ее, рассказывает сразу всю свою жизнь. Все. С самого начала, откровенно, доверчиво, бесстыдно. Как она прежде была манекеном, и с каким трудом стала статисткой, и как наконец ей дали «хвостик роли». Все. И все свои любовные ошибки. «Оттого что любовь всегда ошибка, когда пройдет». Теперь она влюблена в Давиэ. Но она не обманывается — и Давиэ станет ошибкою когда-нибудь. Но сейчас с ним очень хорошо. Она наклоняется и целует Люку.

— А вы, маленькая Дэль, вы счастливы?

— Да, — отвечает Люка серьезно, — я счастлива, — и закрывает глаза. — Спокойной ночи, Арлетт.

Свет гаснет. Спать спокойно, лежать удобно. И какие прелестные сны снятся в путешествии пассажирам спального вагона. Утром, выспавшиеся, в новых дорожных костюмах, они снова перебираются в свое купе. Жермена, Клод и Давиэ стоят у окна. Клод уже бывал в Швейцарии, он дает объяснения и как дирижер управляет восторгами остальных: «Вот сейчас изумительный вид...» Но Люка не хочет смотреть на Швейцарию одна, без Тьери. С Тьери, когда поедут домой.

— Отчего вы не смотрите в окно? — спрашивает Давиэ.

— У меня кружится голова от мельканья, — объясняет она и поворачивается к стене.

— Хотите, — предлагает Клод, — я, как спикер в радио, буду вам рассказывать все, что вижу?

Нет, Люка не хочет.

— Спасибо, но я боюсь, что меня даже от этого укачает.

Она закрывает глаза. Швейцарию она увидит с Тьери. После того, как она встретится с Тьери, после того, как она скажет ему. Ей вдруг становится страшно. А что, если доктор ошибся и у нее не будет сына? Но в эту же минуту, как успокоение, как обещание, ее начинает мутить, и она выбегает в коридор с побледневшим от тошноты и радости лицом.

Когда она возвращается к купе — полутьма, все шторы опущены.

— Ничего, мы лучше постоим в коридоре, — говорит Давиэ, — только бы вам не было дурно.

— Нет, нет, откройте, — просит Люка, — мне совсем не мешает. Я лягу, я усну.

Ее покрывают теплым пледом, ей подкладывают подушку под голову.

— Спите, спите, вы такая слабенькая. Вас замучил этот Ривуар.

«Конечно, замучил. Но все теперь в прошлом. Теперь он будет нежным и добрым».

Она улыбается.

— Вы не любите Ривуара?

— Терпеть не могу, — отвечает Арлетт. — Как и все.

Люка краснеет.

— Исключая меня.

Неловкость, молчание. Арлетт наклоняется над лежащей на диване Люкой и целует ее в щеку.

— Простите меня.

И все опять смеются. В окне горы, солнце, водопад. Все это она должна была видеть с Тьери в четыре глаза, но своими двумя глазами она отказывается смотреть.

Она не хочет спать, она хочет только помолчать, помечтать о Тьери и о своем сыне. Она притворяется спящей. Они говорят шепотом, они не мешают ей мечтать. «Ривуар», — вдруг, как камешек, падает в озерную гладь ее мечтаний, и вот уже большие круги расходятся от этого шепотом произнесенного «Ривуар». Она боится услышать что-нибудь, чего уже нельзя будет забыть, чего она не сможет простить, что навсегда нарушит их дружбу с нею. Она потягивается, она трет кулаком глаза.

— Мы скоро приедем?

— Теперь уже скоро. Сейчас итальянская граница.

Италия... Венеция. На вокзале никто не ждет их. Гондола, каналы, крылатый лев. Все это не имеет никакого значения. В отеле Люке и Давиэ подают телеграммы: «Приеду четверг. Неожиданная задержка. Продолжай работу с Давиэ». В четверг, а сегодня понедельник. Три дня, еще три дня надо ждать. Лакей вносит багаж, Давиэ, как флагом, размахивает телеграммой.

— Поздравляю. Ривуара ждать не надо. Крутить будем без него. Поздравляю вас всех.

Он поздравляет всех, значит и ее, Люку. С тем, что Тьери не приехал.

Это Венеция. Это площадь св. Марка. Это венецианские голуби. Это крылатый лев. Все, о чем она так много мечтала, копя, складывая мечту на мечту, как рубашки в бельевом шкафу — стопками, перевязанными ленточками. И вот венецианские булыжники под ее ногами, венецианские голуби на ее плечах, золотые крылья венецианского льва в голубом небе над ней. Все, как рассказывал Тьери. Венеция... Конечно, это Венеция, как на картинках и в рассказах. Но без Тьери жизнь не жизнь и Венеция не Венеция. Нет, она не пойдет с остальными пить кьянти и есть фрутти-ди-маре[[18]](#footnote-18), она устала, она ляжет. Она не посмотрит даже в окно. Ей немного стыдно своего равнодушия, своего нелюбопытства. Ей кажется, что Венеция всем своим прошлым, всей своей славой и великолепием, дворцами, картинными галереями, всеми своими гидами и туристами упрекает ее. Даже тенями Жорж Занд и Мюссэ.

— А мне неинтересно, — признается она. — Мне неинтересно все, что не Тьери.

Надежда на то, что сын вернет ей Тьери, нет, уже не надежда, а уверенность. Нет, не уверенность, а он сам, ее сын, ведет ее за руку по площадям, по садам Венеции навстречу Тьери. Навстречу Тьери, в гондоле, по черным ночным поющим каналам, по тревожным снам, навстречу Тьери.

«Кончайте фильм без меня», — телеграфировал Тьери. И начинают работать.

— Мы ему покажем, когда он не мешает, — говорит Давиэ десять, двадцать, сто раз подряд. — Мы ему покажем.

Люка впервые работает без Тьери, без его указаний, без его холодных глаз, без знакомого чувства послушания, покорности, полного отсутствия себя. Без ощущения собаки на цепи. Нет, она не может работать без него, она даже не может двигаться — она упадет, она как калека, у которого отняли костыль. С Тьери она ни о чем не думает, ничего не чувствует. Он думает, он чувствует за нее, и она только старается как можно точнее передать то, что он желает. Но с Давиэ она совсем свободна, она захлебывается в свободе, в неумении быть самой собой. Она смотрит на Давиэ, но Давиэ не замечает ее растерянности, не протягивает ей руки, не бросает ей спасительного пояса. Тони как хочешь. И она тонет, она идет ко дну:

Она говорит слова, которые должна говорить по роли, она делает жесты, которым ее обучили, так, как при Тьери, только хуже еще, гораздо хуже. И Давиэ не помогает ей, не обращает внимания, как плохо, как невозможно плохо она играет. Она говорит: «Я умираю оттого, что слишком люблю тебя, Жак». И вдруг чувствует, что это действительно правда, что она умирает от любви, что все слова, которые она говорит, ей сейчас действительно необходимо сказать, что она говорит их сознательно. Она умирает оттого, что больше не может жить, оттого, что ей ничего не останется, как умереть.

«Жак... — она поднимает руки, чтобы сложить их заученно-условно-умоляюще, но руки вдруг сами вцепляются в рукав Клода с безнадежным желанием удержать его. А Люка уже убеждает, унижается и грозит всеми словами своей роли, не оглядываясь на Давиэ, не слыша своего голоса, не чувствуя ничего, кроме страха разлуки. — Если ты уйдешь...» Она встает, она бежит за ним, она становится на колени перед ним. Нет, она уже не боится упасть, ее движения смелы и легки, она все может сейчас. Ей стоит только поднять руку, чтобы достать с неба звезду. Но ей не нужна звезда с неба, ей нужна любовь этого Жака, ей нужно умереть из-за этой любви. Она падает на диван, она сбрасывает подушки на пол, она плачет. Да, она действительно плачет. Настоящие слезы текут по ее лицу. Она впервые испытывает желание умереть. Но ведь ей никогда не приходила в голову мысль о самоубийстве. Никогда. Несмотря на всю любовь, на все горе. И вдруг от фальшивых слов роли, которые она говорит на плато такому же актеру, как она, она чувствует, что действительно может, действительно хочет умереть. И, увлекаемая, захлестнутая неожиданным вдохновением, заставляющим ее чувствовать и переживать то, что она с предельной правдивостью говорит сейчас, она все-таки смутно, краем сознания думает о Тьери, о своей любви к нему. Почему она никогда не хотела умереть за него? Неужели она недостаточно любит его? Любит меньше и хуже, чем эта женщина, которую она сейчас изображает? Среди декораций и бутафорских слов от этих слов и этих декораций она вдруг понимает, что можно любить еще больше, еще тяжелее. Как будто вывернутая наизнанку перчатка. Не жизнь помогает играть роль в фильме, а игра в фильме проясняет ее жизнь. Она еще научится по-настоящему любить Тьерри. Но обо всем этом она думает смутно, не мыслями, а разлетающимися складками своего широкого платья, декорациями, режущим светом ламп, сквозь безошибочную точность вдохновения.

Это действительно вдохновение, все, что она говорит, все, что делает. Слова сейчас же вызывают нужные чувства, жесты, выражение лица. Ошибиться нельзя. Слова сейчас же воплощаются в жизнь. Вот она поет на сцене и чувствует всю головоломную путаницу страха, провала, сомнений, жажды славы, уверенности в себе, победы. Все, чего она желала когда-то, когда еще была женой Павлика, когда еще не знала Тьери и только неясно мечтала о блестящей судьбе. И вот свершилось — она стоит на сцене, она поет, и букет роз падает к ее ногам как знак восхищения ею и ее судьбой. Все, чего она ждала, о чем мечтала. Все, что не нужно ей теперь. Все, что нужно теперь этой изображаемой ею женщине. Нет, не все. Не только розы у ее ног и аплодисменты. Ведь эта женщина поет в последний раз в жизни.

И вот уже Люке действительно кажется, что она поет в последний раз, что она прощается с жизнью. Она плачет от жалости к себе, от страха смерти, оттого, что другого выхода нет. Она поет отчаянно и страстно, так, как петь нельзя.

Она поет. Но разве пение этот стон, этот крик, это захлебыванье в слезах? Она прислушивается к своему голосу. Значит, так поют перед смертью? Так прощаются с жизнью? Ей бы никогда в голову не пришло, что именно так. Но в том мире правды и вдохновения, в котором она сейчас поет, движется и живет, невозможны ни ошибка, ни фальшь.

Они крутят весь день почти без перерыва. Это чудо, этого нельзя пропустить, Давиэ смотрит на Люку усталыми восхищенными глазами. И Люка устала, как устали все. И все-таки работа продолжается до ночи. Наконец, кончают, возвращаются в отель. Восторги Давиэ совершенно необычайные, какие-то воинственные.

— Я всегда догадывался, что вы талантливы, что Ривуар губит, связывает, обезличивает вас, но чтобы вы были до того, до того... Они все еще увидят, кто вы. Вызов Тьери, вызов всем остальным «звездам».

Арлетт самозабвенно целует Люку, будто на свете не существует актерской зависти и соперничества. Слишком много восторгов. У Люки болит голова, но как она довольна, как горда. И Тьери тоже будет гордиться ею. И когда-нибудь ее сын тоже будет гордиться.

Вечер, теплый, настоящий венецианский вечер проводят все вместе на площади св. Марка за столиком с пестрым фонарем. Золотые крылья льва в черном небе, пение гондольеров.

Они все как будто влюблены в Люку. Они ревнуют ее друг к другу, стараются развлечь ее, заставить ее улыбнуться.

— Это жестоко, бесчеловечно так мучить, утомлять вас. Но вы еще постарайтесь из последних сил. Я боюсь, что завтра...

— Да, да, — соглашается Люка, — я тоже боюсь. Вдруг я завтра буду опять бездарна, как всегда. Пожалуйста, будем продолжать.

И они продолжают. Два дня с утра до ночи. Но вот наступает конец. Люка снимает грим в своей уборной и ошалевшими глазами смотрит на себя. За эти три дня она прожила еще целую жизнь. Целую чужую жизнь параллельно со своею жизнью. И это, пожалуй, было слишком много для нее, она чувствует себя опустошенной, выпотрошенной, слабой, легкой. Одной оболочкой, как проткнутый воздушный шар. Если бы ее на руках отнесли в гондолу, в отель. Но надо самой встать со стула, самой идти. Арлетт и Давиэ ведут ее под руки, как больную. У Арлетт красные веки — она плакала, глядя на игру Люки в последней сцене. Но ведь все устроилось, остались только красные веки и усталость. Все чудесно устроилось для той женщины. И для Люки.

Они плывут в гондоле втроем. Такого восхитительного покоя Люка уже давно не испытывала. Как будто с концом фильма кончилось все ее волнение. Конец. Пустота и восхитительный покой. Огни фонарей отражаются в канале. Песнь гондольера смешивается с разговорами. О ней. О Люке. Да, гондольер поет о ней и «вы будете мировой знаменитостью, лучше Бергнер[[19]](#footnote-19), лучше Гарбо[[20]](#footnote-20)» — это тоже о ней. Слушать это очень приятно. Слушать и ждать приезда Тьери. Завтра он вернется.

— Я хотела бы, — медленно говорит Люка, — я хотела бы поехать сейчас в какой-нибудь замечательный сад. В отеле слишком шумно и нарядно.

Но Давиэ не согласен.

— Вы сейчас же должны лечь. А сады успеете осмотреть. Ведь вы кончили, а мы еще будем крутить здесь целую неделю.

Люка не спорит, но ей не хочется возвращаться в отель. Ей хочется еще продлить это скольжение по каналу, этот покой.

Гондола останавливается. Они неумело и неловко высаживаются, они входят в отель. Посреди холла под яркой хрустальной люстрой стоит Тьери. Совсем такой, каким она увидела его в первый раз — во всем величии и славе. Похожий на архангела, окруженный сияньем. С огненным мечом в руке. Люка хочет крикнуть, хочет броситься к нему. Но он делает шаг к ним, и она останавливается, она пропускает остальных вперед. Он здоровается с нею последней.

— Добрый вечер, — говорит он просто, — я приехал на день раньше, чем думал.

И она отвечает ему.

— Добрый вечер.

Сразу, перебивая друг друга, все начинают рассказ о чуде, о Люке, об ее игре. Преувеличенно, почти в библейских тонах, будто о воскрешении Лазаря или Кане Галилейской.

— Лучше Дузэ[[21]](#footnote-21). Вы ее не узнаете, это чудо.

Тьери слушает, покачиваясь на каблуках.

— Удивительно, — говорит он и закуривает папиросу. — Лучше Дузэ? Кто бы мог думать?

Его блестящие глаза насмешливо щурятся.

— Поздравляю вас, — и он кланяется Люке.

Из лифта выходит высокая женщина в черном вечернем платье. Где-то, когда-то, может быть на экране, но Люка уже видела это белое лицо, эти черные узкие глаза, эти черные гладкие волосы. Люка вспоминает белую борзую на берегу пруда, белого лебедя на воде и ее, Терезу Кассони, одновременно похожую на борзую и на лебедя, ее, с которой они обедали в первый вечер жизни Люки. Она подходит, она кланяется, сгибая высокую шею, она протягивает Люке белую тонкую нежную руку. Она становится рядом с Тьери, совсем близко, плечо к плечу, так уверенно, будто это ее место. Она стоит с ним рядом и с улыбкой смотрит на остальных. Будто два лагеря — она с Тьери и другой, в котором Давиэ, Арлетт, Люка. Два враждебных лагеря.

Тереза Кассони объясняет.

Я случайно приехала сюда, и какая удача. Первый, на кого я наткнулась, был Тьери.

Пауза, маленькая неловкость. Никто не спрашивает — откуда она приехала, куда едет.

Пора обедать. И все идут в ресторан. За столом Люка все-таки сидит рядом с Тьери, как всегда прежде. Она смотрит на него. Он загорел, у него усталое лицо. Ей кажется, что он совсем не рад ее видеть. Но ведь он еще не знает. Она пододвигает свое колено к нему, и ее колено начинает дрожать. Она не может есть. Она спрашивает: «Хорошо было в Швейцарии?» Самый банальный вежливый вопрос. Но этого, по-видимому, говорить не следовало. «Очень», — коротко отвечает Тьери нахмурившись. И Тереза Кассони кивает, будто и ее спрашивала Люка о Швейцарии: «Очень».

Давиэ пьет за карьеру Люки, за ее талант, и все чокаются. Люке приятно, что ее хвалят при Тьери, хотя он почти не слушает. «Мы, путешественники, — говорит он, — устали». «Мы» — это Тьери и Тереза, но сегодня же «мы» опять станет Тьери и Люка. Когда он узнает.

Тьери улыбается своей электрической улыбкой, Тьери говорит. Люка слушает. Это совсем обыкновенные, простые слова, но они рассыпаются, как зерна, они катятся по столу, она не понимает их, не может составить из них фразу. Золотое крыло льва, осколки тоски по Тьери, уже непригодной тоски, раз Тьери здесь, зеленый обрывок надежды, как лист салата и коралловый клубок макарон на тарелке. Все вместе полная неразбериха. Больно? Нет, не больно. И не грустно. Но и не весело. Или, может быть, и больно, и грустно, и весело, все сразу. Неразбериха. Голос Тьери раскалывает мир как землетрясение, превращает все в первобытный хаос, тишину и мрак. И над этим хаосом и разрушением сияет его улыбка, его бессмертная улыбка. Только его улыбка. Ничего кроме его улыбки. Его улыбка сияет во мраке и тоске.

Теперь говорит Давиэ. О чем? Все о том же, о том, как она, Люка, удивительно играла, как удивительно пела. Он говорит, и Люка понемногу из щепок и разрушения восстанавливает мир вокруг себя, как в детстве строила дома из кубиков. Из груды чувств, мыслей, рук, лиц, стульев все возвращается на свои места, все правильно, все в порядке. Красный ковер покрывает пол, как ему и полагается. От встряски, от разрушения не осталось следа. Разве только все вокруг стало немного яснее, гармоничнее, свежее, как сад после дождя. Люка ест макароны, пьет вино. Говорить она еще не может, но никто не замечает этого.

После обеда выходят на площадь, садятся в гондолу и слушают пение гондольеров. Люка, Тьери и Тереза — в одной гондоле. Пение смешивается со светом фонарей, с водой канала. Гондолу тихо покачивает. Волна надежды, волна тревоги, волна тошноты. Нет, нет, только бы не тошнило. Пение, тяжелое и сладкое, как масло, ложится на волны, и волны успокаиваются — ни надежды, ни тревоги, ни тошноты. Холодно. Люка дрожит. Холодно, тяжело. И когда же это все кончится, когда она сможет, наконец, сказать Тьери: «У меня — у тебя будет сын»? Неожиданно Тереза становится на минуту союзником.

— Я устала, — вздыхает она. — Ах, как устала.

Гондола причаливает. Они втроем входят в отель. Лифт сначала останавливается для Люки, она живет в первом этаже.

— Доброй ночи, — говорит Тереза.

— Доброй ночи.

Люка кивает Тьери и бежит по коридору в свою комнату.

Она переодевается в костюм юнги, надевает фуфайку с вышитым на груди якорем. «Якорь надежды символ». Символ. Вол надежды. Да, терпеливый вол... Сколько терпения! «Счастье — это долгое терпение»... Где, когда читала она это? Какой вздор. Сейчас кончится горе, кончится, не может не кончиться, сейчас она перешагнет порог, отделяющий горе от счастья. Но почему она так волнуется? Она снова выходит в коридор, она поднимается по лестнице — поднимается вверх, в рай, к Тьери. Как правильно, что его комната выше, что она должна подняться, а не спуститься к нему. Его дверь. Она на минуту останавливается, прислушиваясь, потом стучит и открывает дверь. Тьери стоит перед ней в длинном сером шелковом халате. На ночном столике горит розовая лампа.

— Это ты?

В голосе Тьери ни радости, ни досады — одно удивление.

— Разве ты не ждал меня?

Он не отвечает. Она подходит к нему совсем близко. Она наконец одна с ним. Он стоит перед ней прямой и неподвижный, чопорный, неестественно элегантный. Сияющая улыбка — как щит. Что за ней? Он улыбается, он молчит.

Розовый свет наполняет комнату, розовый отсвет ложится на его сведенное улыбкой бледное лицо. От этого оно кажется жестоким и веселым. Только кажется. Нет, она знает — он не весел, он не жесток. Она поднимает руку, она гладит шелковый рукав его халата, не решаясь поцеловать его руку.

— Я так ждала тебя.

И он объясняет, что не мог раньше, что его задержала мать. Неужели он думает, что она упрекает его?

— Теперь все хорошо, ты со мной, Тьери. Мне было тяжело, мне было страшно без тебя, Тьери.

Она говорит «страшно» и чувствует, что ей действительно было страшно, что ей и сейчас страшно. Она снимает руку с его рукава, она отступает на шаг.

— Мне надо что-то сказать тебе. Сядем на кровать.

— Нет, на диван, — говорит он.

Они сидят рядом на диване. Почему он не захотел, чтобы она села на кровать? Но она не спрашивает. Она отворачивается к открытому окну и, не глядя на Тьери, быстро говорит:

— У меня, у нас скоро будет ребенок.

И, помолчав, добавляет:

— Вот.

«Вот» — это начало несказанной фразы: «Вот ты теперь знаешь, и все хорошо». Теперь он будет радоваться, благодарить ее. В окно видна площадь, собор св. Марка и венецианская ночь. Она смотрит в окно, она ждет. Но ничего хорошего нет. На радость и благодарность тоже не похоже.

— Ребенок? Ты хочешь сказать, что ты беременна? — спрашивает он осторожно.

— Да.

Громкое, торжественное, непреложное «да», из категории тех «да», что произносят перед аналоем, под присягой.

— Ты уверена? — все-таки переспрашивает он.

— Я была у доктора.

Наступает молчание. Все совсем не так, как она ожидала. Молчание. Розовый теплый свет лампы. В окне голубой, холодный свет луны. Будто лампа живая, а луна искусственная. Слишком много света. Протянуть руку в окно, в небо, потушить луну. Но нет даже сил потушить лампу. В темноте было бы легче ждать ответа Тьери. И вот он наконец ответ Тьери:

— Конечно, это очень неприятно. Но не отчаивайся.

Из всех возможных ответов, нет, даже из всех невозможных самый невозможный ответ. Только теперь она поворачивается к нему.

— Ведь это твой ребенок, Тьери.

— Мой? — он встает, он отходит в темный угол комнаты, где нет ни света луны, ни света лампы. — Мой? Я совсем не уверен, что это именно мой ребенок. Но это не имеет значения, — ясно, тихо и очень вежливо объясняет он из темноты.

Да, он давно замечал, что Герэн... и теперь ему уже успели донести. Он ничего не имеет против — она свободна, так даже лучше. Но зачем приписывать ему чужого ребенка? Она смотрит на его черные туфли, мелькающие на розовом ковре. Так, совсем так он шагал в ту ночь, когда она рассказала ему про Веру. И опять: «Не отчаивайся. Терять голову нечего, я дам тебе адрес врача». Она открывает рот, как рыба на льду. Может быть, рыба тоже хочет кричать, только у нее тоже нет голоса. Она поднимает руку, будто отталкивая его слова.

— Я с удовольствием дам тебе денег на аборт.

Она шевелит губами быстро и беззвучно и вдруг хрипло кричит:

— Это твой ребенок, я никогда не изменяла тебе, Тьери, это твой ребенок.

Теперь, когда вернулся голос, она уже не может молчать. Ее голос, как прорвавшая плотину вода, затопляет ее горло, ее разум, ее уши, всю комнату.

— Твой ребенок, никогда не изменяла...

Она зажимает рот рукой, она глотает крик. Снова тишина. Тьери стоит около окна. За спиной его, в лунном небе, золотые крылья льва. Это Венеция. Тьери говорит:

— Даже если правда, что ты не изменяла мне и это действительно мой ребенок, ты должна сделать аборт. Я не хочу иметь от тебя ребенка.

Розовый отсвет лампы на его лице. Нет, оно больше не кажется веселым, Подбородок дрожит, губы по-прежнему раздернуты в улыбку над сверкающими зубами.

— Ты все еще не понимаешь? Когда же ты поймешь? Ты мне противна, как жаба.

Он подходит к ней, он стоит перед ней, глядя на нее сверху вниз блестящими, оскаленными, стеклянными глазами.

— Я думал, что ты приносишь счастье, я верил в тебя. Ты обманула меня. Ты проклята, тебя прокляла умирающая. Ты приносишь несчастье, позор, разорение. Ты играла в моей картине, и она провалится. Я разорюсь. Я боюсь тебя...

Он наклоняется к ней. Сейчас он схватит ее за горло, сейчас он задушит ее. Но он кричит высоким истерическим криком:

— Я тебя ненавижу, отцепись от меня, наконец.

Дверь без стука открывается — Тереза Кассони в облаке духов и перьев с длинным треном входит, останавливается, оглядывается — совсем как на сцене.

— Тьери, что же ты? Я жду тебя, — и поворачивается к Люке. — Ах, простите, я кажется... — и не заканчивает фразы, совсем как на сцене.

Тьери хватается за галстук, поправляет его. Галстук идеально повязан, и это, должно быть, немного успокаивает Тьери.

— Ты напрасно не подождала у себя, Тереза.

Замешательство. Тьери говорит:

— Тебе, Люка, лучше всего уехать завтра. Прости меня, я, кажется, погорячился.

Люка молчит, Тереза Кассони смотрит на них.

— Объяснение? — произносит она нараспев и пожимает плечами. — Неприятно, но иногда необходимо.

Она поднимает руку, проводит ладонью по губам Тьери. Облако духов, шелка и перьев приходит в движение.

— Не улыбайся так отвратительно, Тьери. Перестань, слышишь? Как мертвец в гробу.

— Разве я улыбаюсь?

Тьери отстраняет ее руку, мускулы на его скулах сокращаются, улыбка вспыхивает еще ярче, почти нестерпимым сиянием, он двигает шеей, будто с трудом глотая что-то, и лицо его гаснет, веки закрываются, нижняя губа отвисает.

— Я сейчас запишу тебе адрес доктора.

Он достает перо, он записывает что-то на бумаге, и Люка берет эту бумагу из его руки.

— Конечно, я заплачу за аборт, ты не беспокойся.

— Вот оно что. Аборт? — перья, духи, шелк Терезы снова приходят в трепет и движение. — Ты зверь, Тьери, а вы, дорогая, слишком наивны. О таких несчастьях не рассказывают любовникам. Они этого не любят. Но Тьери все-таки зверь. Хуже зверя.

Люка встает, у нее достаточно сил, чтобы встать, чтобы пройти мимо Тьери и Терезы. Даже достаточно сил, чтобы сказать: «Я уеду завтра утром». Тьери открывает перед ней дверь: «Прости меня, Люка», и он низко кланяется ей. Глаза Терезы вспыхивают победой. Она обнимает Люку широким торжествующим жестом: «Бедная, какая вы бедная», — почти поет она в дыхании духов и шелесте перьев. И нельзя понять, торжествует она победу или сочувствует побежденной. Люка, отстранив ее, выходит в коридор. Сил больше, чем она предполагала. Гораздо больше. Сил хватает даже на то, чтобы спуститься в свою комнату, чтобы дождаться утра.

Утром, когда уже уложены чемоданы, приносят букет белых роз и письмо от Тьери. Люка разрывает конверт — в нем пять тысяч и записка. «Прости меня. Непременно ложись в клинику сейчас же. Когда я вернусь...» Она рвет записку, так и не узнав, когда он вернется. Но деньги? От привычки к бедности осталось уважение к деньгам.

Отнесите это сейчас в комнату Ривуара, — говорит она, передавая деньги лакею.

Лакей выносит чемоданы. Надо присесть перед отъездом. В добрый час... Она насмешливо качает головой. Добрый час. Все часы злые. Но она все-таки садится на стул, все-таки крестится. Цветы остаются лежать на столе. В холле пусто и пахнет мастикой, Швейцар кланяется: «Счастливого пути».

Утро. Венеция. В последний раз. Райски розовый дворец, райски голубая вода канала, узкая утлая гондола и высоко занесенное над ее плечом длинное черное весло. О таком ли отъезде?.. Одна в черной, как гроб, гондоле[[22]](#footnote-22), одна на вокзал. Венеция... Голубь пролетает над ее головой, почти задев ее голубым крылом. Венеция. Венеция. Венеция.

Она одна в купе. Это пассажирский поезд, остановка на каждой станции. Экспресс идет днем. Днем — значило встреча с Тьери, с Терезой, с Арлетт. Днем — значило проводы, разговоры, нет, на это даже у нее не хватило бы сил. Она слушает. Она слушает стук колес и рычагов, слушает, сознательно напрягая внимание. Вот она уловила главный мотив, поймала его, и он петлями чертит узор в воздухе. Аккомпанемент — эти визги, лязги и вздохи.

Она не смотрит в окно, она смотрит прямо перед собой на залитую солнцем стену. Глухая стена, залитая солнцем, так она почему-то с детства представляла себе тоску. Но это не глухая стена. На ней тисненые обои, и зеркало, и два вида Рима, и сетка для багажа. Но, должно быть, поэтому все это нужно, что это уже не тоска, это отчаяние. Она не думает ни о стене, ни об отчаянии, она только чувствует отчаяние. Но чувство это так смутно, так далеко от нее, оно не в ней, оно лежит в душном, темном пыльном углу под диваном купе, оглушенное, заглушенное лязгом колес.

Как медленно тянется время. За столом с жидкой пальмой в пустом буфете. Носильщик приходит за ней. Теперь уже до самого Парижа. Носильщик укладывает ее вещи в сетку и уходит. Так. Она опять одна, теперь уже никто не придет. Но дверь отворяется. Путешественник в верблюжьем пушистом пальто садится у окна напротив. Он вытягивает ноги, поправляет черепаховые очки и вынимает серебряный портсигар.

— Вас не беспокоит? — спрашивает он, старательно, по-французски, с решительным желанием завязать разговор. Путешественник совсем как на плакатах «Посетите летом Шварцвальд». Такой же дорого-дорожно-одетый. Путешественник — тип. Люка кивает и отворачивается к окну. Поезд идет, колеса стучат, в окне — горы и озера, та Швейцария, на которую она не хотела смотреть без Тьери. Теперь все равно, можно смотреть. Она смотрит в окно и все-таки не видит Швейцарии. Она видит только расплывающиеся в тумане обрывки, детали, подробности. Цветущий куст у дороги, ручей, отвесный склон горы и рекламу. Это не составляет пейзажа, картины в рамке дорожного окна, не доходит до сознания.

— Вам нехорошо? — неожиданно спрашивает сосед. — Не могу ли я помочь вам?

Помочь? Чужой человек предлагает ей помощь. Это так удивительно, что она оборачивается и смотрит на него. Чем помочь? В чем?

— Но вы плачете, — говорит он.

Она поднимает руку, проводит ею по лицу.

— Я не заметила, я не знала, что плачу. Это от усталости, — объясняет она. Она краснеет, ей стыдно.

— Я не спала всю прошлую ночь и перед этим много работала.

Зачем объяснять, какое ему дело? Но ему, по-видимому, есть дело.

— Нельзя так переутомляться, — у него серьезный, почтительный тон, он произносит слова твердо, с иностранным акцентом. — Какая у вас работа?

Она опять объясняет, что она кинематографическая актриса, что она кончила фильм в Венеции.

— Должно быть, забегались, осматривая все?

Она качает головой.

— Я ничего не видела, кроме студии и отеля. Ну и, конечно, площади св. Марка перед отелем.

— Вы француженка?

— Нет, я русская, но я выросла в Париже.

Ей хочется говорить и говорить, она так добросовестно отвечает, как на допросе, как на исповеди. И она говорит о поездке, о Швейцарии, которой она не знает. О Париже, которого не знает он. Это правдивые, спокойные, нейтральные темы, им можно довериться. И все же, просто от звука собственного голоса, составляя даже пустые фразы из самых безобидных слов, надо думать, а когда думаешь, нельзя не вспомнить того, что случилось ночью. И уже нельзя не чувствовать горе в голове, в сердце, в крови, а не бессознательно — где-то там, в пыльном углу купе, под диваном, под грохотом колес. У нее перехватывает горло, слезы опять текут по щекам, и глаза снова полны тумана. Но теперь она сознает, что плачет.

— Это от усталости, — всхлипывает она и вдруг поддается сверлящей жажде откровенности, — это от горя...

Но он, ее сосед, не слышит. Он встает, он хлопочет.

— Вам надо лечь. Сейчас все пройдет.

Он достает из чемодана шелковую подушку и, раздув щеки, наполняет ее воздухом. Очень старательно и очень забавно. Но Люка плачет и не может смеяться. Он кладет подушку ей под голову, покрывает Люку своим клетчатым пледом.

— Лежите, лежите. Я сейчас дам вам валериановых капель.

— Спасибо.

Он достает дорожную аптечку, отсчитывает капли в стаканчик. Из открытого чемодана падает русская газета. Он быстро наклоняется и прячет газету в чемодан, но Люка уже видела.

— Вы русский?

Она сбрасывает плед и садится на диван. Он молчит с минуту, потом будто нехотя соглашается.

— Ну да, конечно, русский.

— Отчего же вы сразу не сказали? — упрекает она.

— Оттого, что я боялся, что вы со мной разговаривать не станете. Выпейте раньше, о политических убеждениях потом.

Он протягивает ей стакан, и она послушно пьет.

— Спасибо. Почему вы думали, что я не захочу разговаривать?

Он лукаво прищуривается.

— Оттого, что вы — эмигрантка, а я из Москвы и возвращаюсь туда.

— Как я рада, — Люка протягивает ему руку. — И как я сразу не догадалась. Такой милый может быть только русский.

Он уютно садится, уютно разводит руками.

— За все путешествие ни с одним эмигрантом не столкнулся и очень жалел. Вот и послала судьба в последний день.

— Расскажите мне о Москве. Вы не уйдете?

— Куда же мне уйти? Я в Париж еду. Спите, а я вам почитаю, чтобы вы заснули. О Москве потом.

— Я очень несчастна, — признается она тихо.

И на этот раз он участливо принимает ее признание.

— Что так? Новой работы нет или денег?

— Нет, — вздыхает она, — из-за любви.

— Пустяки любовь, — поучает он. — Потом расскажете, если сном не пройдет.

Он достает из чемодана книгу.

— А теперь я читать вам буду.

Она вытягивается, кладет ладонь под щеку. Так когда-то ей читал Павлик перед сном. Это рассказ Зощенко, и это, должно быть, смешно. Но Люке совсем не смешно. Дело идет о несчастном человеке, его обманывают, его мучают. Люка снова начинает всхлипывать. Ей жаль героя рассказа, ей жаль себя.

— Я не могу, не читайте дальше. Слишком грустно. Какие все люди несчастные.

Он захлопывает книгу, он разводит руками.

— Ну и разнервничались же вы. Глупо у вас в Европе живут, — у него огорченное, добродушное лицо. — Что мне с вами делать прикажете?

Она вытирает глаза, она улыбается ему.

— Ничего не надо. Хорошо, что вы здесь. Как вас зовут?

— Михаил Николаевич, — отвечает он.

— Спокойной ночи, Михаил Николаевич. Я сейчас засну.

И она действительно сейчас же засыпает.

Когда она просыпается, он все так же, в той же позе, сидит на своем месте. Страх, пока она открывала глаза, что он только снился, напрасен. Он тут.

— Еле дождался, вставайте скорее, идем обедать.

Она поправляет костюм.

— Отчего вы меня не разбудили или не пошли одни?

Он пожимает плечами.

— Выдумали тоже. Куда же я теперь без вас? Теперь уже вместе.

Она смотрится в зеркало.

— Как я пойду, такая заплаканная?

— Вы можете себе позволить, вам все украшение, вы такая красивая, — он убежденно кивает, — такая красивая, даже неестественно. У нас таких не делают, не научились еще. У нас проще, зато практичнее и крепче. Таких, как вы, у нас не найдешь. Европа.

Они идут по вагонам в ресторан. Коридор узкий. «Пардон, пардон», — говорит он, но это «пардон», как оклик «сторонись», и пассажиры, хотя никто из них никогда не слышал оклика «сторонись», инстинктивно прижимаются к стене, пропуская Люку. Между двумя вагонами, в гармонике, на трясущемся мостике, он крепко держит ее за локоть. Они на площадке, и дверь открыта. Ветер, пространство, грохот и скорость, как волны с палубы, готовы слизнуть их. Что, если поддаться им, если немного наклониться в этот грохот и ветер и дать себя слизнуть с площадки? Желание не касается ее, не задевает ее, оно, как дым паровоза, пролетает за стеклами окон. И все-таки если наклониться? Но она уже сидит за столиком и обсуждает меню. Он хотел бы заказать омара, фазана. Но фазана нет и омара тоже. Зато имеется страсбургский паштет.

— А нет ли у вас цветов, чтобы поставить на стол?

Лакей приносит полуувядшие гвоздики, забытые какой-то пассажиркой в купе. Все-таки цветы, нарядная жизнь. Он доволен всем: и «как-на-открыточном» видом в окне («Всегда думал — фантазия»), и европейским — «такого-у-нас-не-получишным» обедом, и, главное, своей соседкой, Люкой. Он называет гарсона «monsieur», распоряжается с важной барственностью, ест с аппетитом безработного. И рассказывает о России. Люка слушает и смотрит на него благодарными глазами. Он, этот русский, Михаил Николаевич, — подарок, посланный ей судьбой. Такой говорливый, веселый, добродушный. Конечно, она несчастна, очень несчастна. Горе, как снег, кружится перед ее глазами, падает на ее голову пушинками, снежинками, кусочками воспоминаний и страдания. Парчевый халат, который она видела у Тьери перед его отъездом, принадлежал Терезе. Она тогда еще удивилась, что мать Тьери носит такие театральные халаты. Мать Тьери. Никакой матери не было и нет. Он ездил в Швейцарию с Терезой. Если бы Люка была сейчас одна, горе, как снег, покрыло бы ее белой тяжелой шапкой, большой горой, она легла бы под ним и больше не могла бы встать. Но вот он говорит, и горе, как снег, тает от его слов, от его голоса, от его русского смеха.

— Ешьте, ешьте, — уговаривает он.

Она ест, она улыбается сквозь горе, как снег кружащееся вокруг нее.

Обратный путь по вагонам гораздо длиннее и труднее. Боязливо, как через пропасть, по лязгающему переходу из вагона в вагон. Туда, вниз, на полотно, под колеса? Нет, она не хочет, она крепко держит Михаила Николаевича за руку — он выведет, он доведет. И он действительно доводит. В купе горит свет, и это удивляет ее. Неужели уже ночь? Как она не заметила? Она поднимает штору. Да, ночь, со звездами, с искрами, с убегающими черными деревьями, обыкновенная железнодорожная ночь. И можно уже спать. Но спать она не хочет, она уже выспалась. Входит проводник и говорит что-то насчет спальных мест. Она качает головой. Нет, нет, она останется здесь. Здесь ей было хорошо. Но Михаил Николаевич держит желтую квитанцию в руке, и проводник уже снимает его чемодан.

— Не уходите, останьтесь, пожалуйста. Если вы уйдете...

Но Люке незачем кончать угрозу: «Я опять заплачу» — он и так уже отсылает проводника, уже снова устраивается напротив нее. Хорошо, но тогда мы еще выпьем шампанского. Она согласна, только бы он не уходил.

Теперь рассказывает не он, а она. И он слушает очень внимательно, так же внимательно, как слушала его она. О ее жизни, о ее любви, о ее горе. И даже о ее детстве и смерти Веры. Все, чтобы он мог понять, чтобы он мог посоветовать. Что ей теперь делать? Она держит апельсин в руке, она прижимает его к щеке — какой холодный. Она смотрит на апельсин — какой красивый. Никогда прежде она не замечала, как красивы апельсины, такие круглые, законченные, самостоятельные, защищенные. Толстая апельсинная кожа, через такую кожу не почувствуешь ни боли, ни тоски, ни одиночества. И какое одиночество, когда целая семья, целое общество — коллектив, как говорит Михаил Николаевич. Она напрягает память, она спрашивала что-то сейчас. О чем? Ах да. «Что же мне делать?» — снова повторяет она, не помня уже, к чему это относится. К путешествию, к апельсину, к жизни? Но он, ее спутник, зорко смотрит на нее. Он широко взмахивает рукой, он вдохновенно встает.

Что? Да ведь ясно. Ехать в Москву. Другого решения быть не может — ехать. В Москве она как кинематографическая актриса...

Как просто. Она не была даже знакома с ним сегодня утром, а вот он взял ее за руку и уже ведет ее по родным, снежным улицам Москвы, вот он уже устраивает ее жизнь, полезную, разумную, веселую жизнь. И все горе осталось в Париже. Она не взяла его с собою. В Москву, домой. Как ей самой не пришло в голову? И много там милых людей, как вы? Да, да, она хочет домой, в Россию, в Москву.

Он наливает ей шампанское. Она пьет за возвращение домой. Ей приятно пить шампанское, точно вместе с ним она глотает вкус к жизни. Вкус к жизни дает вкус и шампанскому.

Они долго говорят, они строят планы криво, косо, с планетарным размахом. Вот уже Люка — звезда русского экрана.

— А петь вы умеете?

Она смеется.

— Еще бы.

Под лязг, шум и стон колес она поет «Бублички». Во весь голос, с той необычайной страстностью, с тем восторгом, с той болью, с которой она пела в Венеции. Он слушает ее. Она закрывает глаза, она скрещивает руки на коленях, она кончила.

— Да, голос у вас превосходный. И как выразительно, — он морщится. — Даже слишком. Так, должно быть, поют на Соловках, если только поют, — он вдруг осторожно проводит ладонью по ее волосам.

— Бедная. Я, только когда вы пели, понял, как вы несчастны. Потому что для меня любовные истории — пустяки.

Ей хочется заплакать. Слова «бедная», «несчастная» — их не надо было произносить. Она сейчас заплачет. Но он говорит: «В Москве...» И она, улыбаясь, слушает, что будет в Москве. «В Москву, в Москву, в Москву», как чеховские сестры.

— Но я не читала, — она смеется. — Я вообще так мало читала, я только знаю, что они хотели в Москву, — на минуту она становится грустной. — И ведь им, кажется, не удалось?

Он не отвечает, ссылка на Чехова ни к чему, он говорит о реальной, разумной, действительной жизни. Она засыпает. Сквозь сон она чувствует, что он накрывает ее пледом.

— Спасибо, — губы ее почти не двигаются, но поблагодарить необходимо. — За все.

Она просыпается. Он уже сидит вымытый, выбритый, в свежей рубашке.

— Через час будем в Париже.

— Через час?

Неужели она через час уже расстанется с ним? Нет, он останется с ней до вечернего поезда. Ничего, в Москве подождут. Зато они вместе проведут день.

— Как хорошо, — говорит она, — как чудно.

И от забытых слов «хорошо, чудно», которыми начинается это фантастическое утро, жизнь на несколько часов приходит в обманчивую гармонию, и горе, не находя себе места, прячется в этом праздничном порядке. Оно, конечно, здесь, но его не видно, его не чувствуешь, о нем не надо думать беспрерывно.

Из вагона они выходят вместе, под руку, будто вообще нет одиночества. В отель они тоже едут вместе. Можно не слушать, что он берет комнату только на один день, можно представить себе, что он поселяется здесь «всерьез и надолго», как он говорит. Она входит в свою зеленую комнату, она берет ванну, она переодевается. Она спешит — он, этот русский, Михаил Николаевич, уже ждет ее в холле. Они вместе идут в гараж за ее автомобилем. И начинается туристический, фантастический день, один из тех дней, которые описывают в сказочном путеводителе, где реальность переплетается с нереальностью, где все двери открыты в мир надежды и гиду платят обещаньем спасенья. День, начинающийся французской фразой: «Я приехал в Париж с целью осмотреть его. Предоставьте мне, пожалуйста, гида». Обязанность гида исполняет Люка. Гробница Наполеона, Пантеон, Париж с высоты Эйфелевой башни и Лувр. Лувр — тяжелый этап. От усталости, от мельканья картин Люку мутит и голова кружится. Но он должен все увидеть, и Люка почти бежит за ним. Она не смотрит на картины, она внимательно рассматривает свои и его ноги.

— Это какой художник? Какая школа? — спрашивает он. — Когда жил?

Люка, не глядя, отвечает:

— Не знаю.

Это правда, даже если бы она видела картину, она могла бы только ответить «не знаю». Но он вполне удовлетворяется ее ответом. Его начищенные туфли шагают широко и решительно. «И кто с песней по жизни шагает... — он не поет, но все-таки Люке кажется, что это про него, — тот нигде, никогда не пропадет».

— Осматривать с вами музей одно наслаждение, — говорит он, снова усаживаясь в ее автомобиль. Он шутит, должно быть. Нет, он серьезен и очень доволен. Она добросовестный гид, она везет его на Монмартр, на Монпарнас. Они сидят в кафе на Елисейских Полях. Она даже везет его в Версаль, показывает ему парк и дворец. Она так внимательна к нему, она так внимательна к автомобилю, к дороге, все ее внимание натянуто, занято. Горю не за что зацепиться, некуда пролезть. Оно соскальзывает, оно отскакивает от ее мыслей, от ее чувств. Конечно, оно здесь, но она почти не чувствует его. Он говорит о Москве. Все, что было сказано вчера ночью, стало почти реальностью. Она поедет в Москву, она станет русской актрисой — с ее внешностью, с ее голосом. Это решено, и она не спорит.

— Я не понимаю, как можно здесь жить.

— Разве вам не нравится?

— Очень нравится посмотреть. Но жить здесь... Как вы могли так долго?

— Но ведь я не знала другой жизни.

— Нет, не другой жизни, вы вообще не знали жизнь. Вы еще не жили.

Она не спорит. Может быть, это и так, она не знает. Может быть, все эти часы, дни и годы и не были жизнью.

— Если бы вы могли не уезжать сегодня.

Но этого он не может.

Она смотрит на часы.

— Осталось четыре часа, три с половиной... — она не добавляет — до вашего отъезда.

Будто с его отъездом все кончится.

Они обедают у «Максима»[[23]](#footnote-23). Он всегда мечтал побывать у «Максима“. „Иду к “Максиму” я», — напевает он.

— Знаете, все в Париже похоже на оперетку. И вот вы говорите о своем горе. Я сочувствую всей душой и все-таки не совсем верю ему. Опереточное какое-то горе. Не настоящее. На ненастоящих основаниях.

— Ненастоящее? — переспрашивает она. — Может быть, но все-таки очень больно.

Он кивает.

— Да, очень больно, Люкушка, — Люкушка, так Люку никто еще не звал. Это звучит по-московски, родственно, уютно. — Один день с вами, Люкушка, лучше всего моего путешествия.

После обеда они едут в «Табарен»[[24]](#footnote-24) смотреть на канкан. Она тут тоже впервые. Как некрасиво — черные чулки, оборки. Как вульгарно. Но ему нравится, это подходит к его представлению о парижском веселье, о парижском шике. Вот это, по крайней мере, настоящие парижанки. Он тоже хочет танцевать. И они танцуют танго. Он делает какие-то своеобразные, сложные шаги, раскачивается, скользит, кружится.

— Ну как? — спрашивает он.

Люке жаль огорчить его.

— Очень хорошо.

— Если бы я мог остаться еще хоть на день, вы научили бы меня.

Да, если б он мог остаться.

Она везет его на вокзал. Носильщик, багаж, оставленный на хранение. Они стоят перед вагоном, он крепко держит ее под руку.

— Будьте храброй, не откладывайте. Обещаете?

Она кивает.

— Мне очень грустно расставаться с вами, Люкушка. Настоящая разлука, настоящее прощанье на вокзале.

— Вы — мой лучший друг, — говорит она. — Вы — мой единственный друг.

— Неужели единственный? Как вы можете жить одна-одинешенька?

— Я не могу, — сознается она.

— Завтра поедете в полпредство. Обещаете?

— Обещаю.

Осталось десять минуть. Такие огромные, зловещие часы. И еще одна минута прошла.

— Вы не дали мне своего адреса и как ваша фамилия, — вдруг вспоминает она. — Куда же вам писать?

Он качает головой:

— Писать нельзя. Никаких сношений с заграницей. Не такое теперь время, чтобы перепиской заниматься. Как приедете в Москву, звоните сейчас же по телефону 375—90. Запомните: 375—90. А фамилия моя, — он задумывается, будто не решается назвать свою фамилию, — Кирьянов, — говорит он быстро. — В книжке есть. Ну, дайте я запишу вам номер.

Она поднимает голову, она смотрит на огромные часы. Осталось только две минуты.

— Счастливого пути. Спасибо.

Он крепко пожимает ее руку.

— Не мне, а вам спасибо. Приезжайте, я буду вас ждать.

Столько слов, и все это ничего не значит. Он входит в вагон, он высовывается в открытое окно и что-то быстро говорит ей. Теперь это уже не имеет значения. Одна минута, последняя. Очень длинная, но вот и она прошла, и поезд уходит. Белый платок вьется в окне. И вот уже даже его не видно. Конец. Одиночество.

Люка возвращается в отель. Как она устала. Руки дрожат, и вода расплескивается на ночном столике. Она, морщась, глотает большую облатку веронала. Веронал ей купил Кирьянов. Комок сна и покоя с трудом проходит сквозь сузившееся от горя горло. «Вам важнее всего выспаться». Да, это важнее всего. И она сейчас же засыпает.

Но так ли важно было выспаться? Она сидит в постели с туманной от сна головой. От сна как от кутежа. О да, она выспалась совсем, даже слишком. Это был дремучий, липкий, непроходимый сон. Она едва выбралась из него, едва оторвала его от себя. Ей казалось, что она уже никогда не проснется, что она так и будет спать, спать и спать. Мучительно спать, сознавая свое горе, чудовищно расцветшее, разукрашенное всеми обидами, страхами и слезами, вдруг вынырнувшими из наглухо запертых в памяти воспоминаний детства.

Во сне она снова была маленькой Люкой, Тьери был Арсением, но звали его все-таки Тьери, и Вера, ее сестра, была влюблена в него. И все ненавидели, все мучали Люку. И отвратительнее, злее, страшнее всех была ее мать.

... Люка хочет убежать, спрятаться от них. Она, боязливо оглядываясь, на носках выходит из незнакомого темного деревенского дома. Тише, тише, осторожней, осторожней, чтобы они не услышали, не увидели, не вернули бы ее. Она одна на темной проселочной дороге. Луна ярко светит. Она видит свою детскую черную тень с неимоверно вытянувшимися ногами, прыгающую по дороге. Ей страшно, она отворачивается, чтобы не видеть свою тень, она бежит все быстрее. Она слышит стук своих ног в тишине. Как громко, как разнобойно стучат ее ноги. Нет, это не только стук ее ног, это стук еще чьих-то чужих ног позади. Она оглядывается на свою тень. Но от ее тени ничего не осталось, она вся поглощена огромной скачущей тенью старухи. И Люка узнает ее. Это мать, это ее мать гонится за ней. Луна светит. Нигде ни куста, ни дерева. Спрятаться негде...

Нет, нет, конечно, все это не снилось ей. Она придумала это сейчас. И надо скорее забыть. Но какая гадость веронал. Лучше уж бессонница, чем такие сны.

В окне дождь. Как отвратительно — дождь. Но если бы светило солнце, было бы так же или еще отвратительнее.

Надо встать. Надо ехать в консульство. Она обещала Михаилу Николаевичу. Но зачем ехать в консульство? Она прекрасно знает, что ей там ответят: «Подайте прошение. Мы вас известим». Ответ придет не раньше Рождества. Не раньше Рождества, а она не знает, как дожить до завтра, как прожить сегодняшний день. Вернуться в Москву. Вчера это казалось легко и просто. Теперь она видит, что это невозможно. И почему же в Москву, а не на луну? Это так же невозможно. А на луне, может быть, еще лучше или еще хуже, чем в Москве.

Она достает из сумочки записку и рвет ее. Она не хочет помнить ни номера телефона, ни имени человека, давшего ей ее. Он в Москве или на луне, ему нельзя даже писать, и она никогда больше не увидит его. Зачем же ей помнить его номер телефона? Вчерашний день был только случайной, короткой передышкой, антрактом, давшим ей возможность набраться сил. Игра продолжается.

Нет, она не поедет в консульство. Она зевает. Ей некуда спешить. Никто не ждет ее. Она может полежать еще. Она может пролежать до вечера. Но тоска уже гонит ее в ванную. Вода с торжественным ниагарским грохотом льется из кранов, объявляя о начале церемониала этого нового ужасного дня.

Неужели ей когда-то доставляла удовольствие теплая душистая вода, белые хлопья мыльной пены, губка, нежно скользящая по колену? Неужели она могла сосредоточить свое внимание настолько, чтобы сознательно чувствовать все это и так уяснить ощущение, чтобы испытывать разнообразные удовольствия, качественно отличавшиеся друг от друга легчайшими, но несмешиваемыми оттенками. Она сидит в ванне, она сыплет душистую соль в воду, она намыливает плечи. Она делает все очень точно, очень аккуратно, по раз установленному церемониалу, заменяя привычкой сознание, всецело занятая своим горем, просто не замечая всех этих мелочей и подробностей. Она выходит из ванны, она одевается. Тоска, как уголек, залетевший из ада, жжет ее сердце. Она уже сожгла надежды на Москву и теперь вместе с ее сердцем сжигает остатки устойчивости и равновесия, бежит по нервам, сжигая и их; Люка прислушивается. Как тихо в ней. Как тихо. Той особенной послепожарной тишиной, когда все сгорело дотла, когда огонь, покончив со всем, умирает под пеплом и душа его тонкой, умилительной полоской уносится в небо.

Но это длится только минуту. Тоска, покончив с будущим и настоящим, бросается на прошлое. Но оно железобетонное, огнеупорное, это прошлое. Оно не сгорает. В свете огня еще виднее изуродованное ненавистью лицо Тьери, еще слышнее: «Ты мне противна, как жаба». Еще слышнее, так ясно слышно, будто это говорится здесь, сейчас, в этой комнате. «Противна, как жаба. Противна, как жаба», — с отвращением и страхом, совсем как Тьери в ту венецианскую ночь, громко повторяет голос. Не может быть, чтобы это только казалось, — голос слишком отчетлив, слишком ясен. Она обводит комнату глазами, заглядывает в углы, под диван, даже в зеркало и в зеркале видит свое бледное лицо, свои шевелящиеся губы, с усилием повторяющие (теперь она понимает, она слышит, что это она сама говорит): «Ты мне противна, как жаба». Она зажимает рот рукой так плотно, что голос уже не может вырваться, но в голове ритмично и отчетливо продолжает стучать: как жаба, как жаба... Она снова оглядывается, ища помощи, но ни один из этих безличных отельных предметов не хочет помочь ей. На столе телефон. Если бы можно было снять трубку, составить первый попавшийся номер, и крикнуть слушающему на том конце провода: «Спасите меня. Я погибаю. Спасите. Приезжайте сейчас же», и дать адрес.

Но этого нельзя. Никто не поймет, не спасет. Если в доме пожар или воры, помощь явится немедленно, но ни полиции, ни пожарным, ни благотворительным учреждениям, ни просто всем телефонным абонентам нет дела, что кто-то — еще кто-то — погибает от тоски и одиночества.

Люка берет шляпу, мех, сумку. Надо скорее уйти отсюда, на улице, на людях станет легче. Она не успела даже напудриться, накрасить губы. Все равно, потом, в автомобиле. Только уйти отсюда, не оставаться одной.

И вот она в автомобиле. Она въезжает в Булонский лес. На деревьях большие зеленые листья. Когда они успели так вырасти? Весна, а она и не заметила. Деревья шумят. Мокрые листья дрожат и блестят на ветру. И хотя идет дождь, от дрожи и блеска листьев кажется, что деревья освещены солнцем, что солнце прячется в них.

Весна. Еще одна новая весна. И это почему-то очень тяжело, очень неприятно. Лучше уж в сутолоке улиц, среди толпы и открытых зонтиков. Она входит в большое кафе на Елисейских Полях, она садится у широкого окна и заказывает кофе. И сейчас же меняет: «Нет не кофе, а яичницу». Она ждет, она смотрит на спешащих мимо по мокрому тротуару. Неужели у каждого из этих людей своя собственная тоска, своя собственная судьба? Но долго сидеть она не может. Беспокойство душит, гонит ее. Она пересаживается за другой столик в глубине, берет газету, просматривает ее. На первой странице портрет двух молодых любовников, покончивших с собой от любви и жизненных неудач. Неужели они действительно жили, вот эти двое? Плакали, целовались, боялись разлуки и бедности, пока наконец не решились улечься рядом, крепко обнявшись, чтобы уже никогда не расставаться, не бояться ничего? Ей хочется представить себе их живыми. Ей хочется на минуту почувствовать то, что чувствовали они перед смертью. Но это не удается. Может быть, оттого именно, что они чувствовали ту же растерянность и тоску и невозможность сосредоточиться. Лакей приносит яичницу. Как могла она думать, что съест ее? Ведь есть совсем не хочется. Она платит, она снова в автомобиле. От воздуха, от движения, оттого, что надо быть внимательной, все-таки немного легче. Она едет мимо Галери Лафайет. Зайти, купить что-нибудь, все равно что. Нет, совсем не все равно. Надо купить перчатки, она забыла перчатки в отеле. В магазине движение и спешка. Тревога чувствуется здесь еще сильнее. Страсть и жадность всех этих женщин, желающих купить получше, подешевле, побольше, роющихся в грудах остатков материй и лент, душным облаком стоит в горячем воздухе, механически передаваясь каждой вновь вошедшей. И Люка не составляет исключения, и вот она уже покупательница среди других покупательниц, нетерпеливая, требовательная. «Зеленые перчатки в цвет моей сумочки». Продавщица открывает и закрывает коробки. Люка прикладывает сумочку, выбирает, сомневается: «Эти, нет, подождите, лучше те». Она забывает взять сдачу. Продавщица догоняет ее: «К счастью, мадам не успела далеко уйти». К счастью, действительно к счастью. Как правильно сказано. Отчего даже те немногие слова, которые говорят ей, звучат насмешкой? Но раздумывать некогда. Здесь она покупательница — покупательница должна покупать. Да, зеленый кушак в цвет сумки и перчаток. Она суетится, ходит по магазину. Кушак, перчатки вдруг вырастают до фантастических размеров, отодвигают горе, закрывают собой прошлое. Пока она выбирает, пока покупает их. Но вот она заплатила, надела кушак. Кушак крепко обхватывает ее талию, поддерживает, нет, просто сдавливает ее измученные ребра. Оттого, что он новый и зеленый, ничего не изменилось, тревога не улеглась, и волнение не прошло. И перчатки ничуть не помогают. Зеленые, как лягушки: «Ты мне противна, как...» — нет, жаба коричневая и ничего общего не имеет с этой милой зеленью. Но зачем все-таки она купила их?

Она выходит на улицу, машет такси и тогда вспоминает, что она оставила где-то здесь свой автомобиль. Она стоит на тротуаре, стараясь собраться с мыслями. Прохожие толкают ее. Какие грубые. Толкают вместо того, чтобы пожалеть. Где автомобиль? Надо отыскать его, не сесть по ошибке в чужой. Но он находится быстро, он белый, спутать нельзя, и номер тот же. Это ее автомобиль. И она снова едет.

Мысли ломаются, куски их отскакивают друг от друга, их нельзя сложить, склеить в слитное, логичное целое. Только куски, только обрывки. И время тоже ломается. Оно распадается на осколки, как разбитое зеркало. В разбросанных осколках отражаются глаза Тьери, его электрическая улыбка, тут его голос, а там его рука, держащая папиросу. Но как из всех этих осколков составить его живое лицо, живое воспоминание о нем? Это вчера или только что она купила перчатки «как жаба»? Нет, Тьери сказал «коричневые». Нет, не «коричневые», а «жаба». Это жаба коричневая. Люка все путает. Жаба не имеет никакого отношения к перчаткам. Но все-таки их лучше снять и выбросить в окно. Вот так, на тротуар. Кто-нибудь найдет и обрадуется: совсем новые, дорогие. Но маленькие — пять три четверти — редко кому впору. Ах, это уже касается не ее, а той, которая найдет перчатки. И не все ли равно, когда Люка купила их? Вспомнить так трудно. Да, так трудно вспомнить, разобраться, понять что-нибудь в обрывках и лохмотьях тоски, боли, оскорбления и одиночества, без всякой последовательности, как попало нанизанных на отчаяние как на стальной стержень. На отчаяние, не дающее всем этим словам, часам и слезам разлететься по ветру, рассыпаться пылью, а крепко связывающее их в единое, неделимое, непобедимое горе.

Люка смотрит на поднятую руку останавливающего движение полицейского, и эта поднятая рука вдруг заставляет ее понять, что так нельзя, так дальше нельзя, что надо успокоиться. Но как? Но где? Не здесь на улице, в толпе, не в отеле — этой одиночной камере. Нет, где-нибудь, где она была счастлива, действительно совсем счастлива. Посидеть там в тишине, ни о чем не думая, пока не вернется равновесие, пока мысли не станут снова превращаться в простые понятные фразы, пока минуты, складываясь друг с другом, не начнут снова образовывать бесконечной линии, не станут снова беспрерывным движением, текучим переходом от прошлого в будущее. Пока время не перестанет быть тем, что оно теперь — остановкой, провалом, где каждый час сам по себе, ни с чем не связанный, превращается в страдание, в статическое «как больно», без надежды на «это пройдет, завтра будет легче».

Там, где она была счастлива — нет, не в доме Тьери, не в ресторанах, театрах и студии, где потом было столько горя. Нет, где она была счастлива с ним, и только счастлива. Ведь должно существовать такое место. Надо вспомнить, хорошенько вспомнить. И она вспоминает. Фекан. Да, в Фекане она была совершенно счастлива. Это было еще в самом начале, осенью. Павлик уехал на завод, и они с Тьери провели сутки у океана. Очень большая комната в три окна, номер шесть. «Запомни, — сказал Тьери, — номер шесть. Мы еще вернемся сюда. Здесь было слишком хорошо». Но не «мы», а она одна вернется туда. И не за воспоминаниями, а за успокоением. Успокоиться. Да, там можно успокоиться. Лечь в широкую постель, ни о чем не думать, отдохнуть. И все придет в порядок в ней самой и вокруг нее.

Ведь ничего не пропадает на свете, и в этом «там, где она была счастлива» счастье, как пыль, должно быть, еще прячется в складках занавесок, в абажуре лампы, в лепных узорах потолка. Надо ехать в Фекан, сейчас же ехать. К ночи она уже будет там.

Она достает дорожную карту, рассматривает ее. Ехать просто, спутать нельзя. Она не заезжает даже за чемоданом, за теплым пальто. В Фекан, за успокоением, за завтрашним днем.

Дождь, автомобиль скользит. Надо быть очень осторожной, не забывать ни на минуту, что она правит, следить за своими руками, за своими ногами, за своими рефлексами, помнить о них. Тьери, ребенок — об этом потом.

Это ее первое большое путешествие — никогда еще она одна не ездила дальше студии. Если случится что-нибудь с автомобилем, она совершенно беспомощна, она ничего не понимает в механике, этому ее не обучили, она не умеет даже переменить шину.

Но ничего не случится. Она отлично доберется до Фекана. Но как это далеко и как она устала! Дождь, мокрая дорога скользит, автомобиль заносит на поворотах. Надо быть очень осторожной, не прибавлять скорости. Хочется спать. Должно быть, веронал снова вступает в свои права. Хочется остановить автомобиль, по-щенячьи свернуться теплым клубочком и уснуть... Нельзя, надо ехать. Километр за километром, под дождем. Сколько их еще, этих километров? Какие они длинные, мокрые, трудные. Она въезжает в лес. В лесу уже почти темно, она зажигает фонари. Желтый свет широко освещает дорогу, оставляя деревья в тени. Она не видит деревьев. Она видит только их тени, лежащие на дороге. Большая птица тяжело пролетает в желтом свете фонарей. Это, должно быть, ворона, но Люке кажется, что это сова. «Сова», — шепчет она, вздрагивая. И лес сразу становится зловещим и враждебным. Ей холодно, она дрожит. Скорей бы выбраться отсюда. Тени деревьев бесшумно скользят мимо. Она боится оглянуться на них. Ей кажется, что они бегут рядом. Нет, это не тени деревьев, это старухи, уродливые, горбатые, хромые, они скачут по обе стороны автомобиля, липнут к автомобильным стеклам. Она оглядывается на окно. И вдруг узнает одну из старух, узнает этот черный беззубый рот, эти растрепанные белые волосы, эти косящие от ненависти, мертвые глаза...

Люка крестится и, зажмурившись, крестит окна и углы автомобиля, как когда-то в детстве крестила свою комнату ночью. «Да воскреснет Бог». Это веронал, не надо бояться, не надо поддаваться сну и страху. Лес сейчас кончится. Сейчас. Но он тянется, тянется, тянется. Он бесконечен, этот лес. Ей страшно. Ей страшно, как бывало только в детстве, когда она просыпалась с криком: «Мама!» Ей и сейчас хочется крикнуть, позвать на помощь: «Мама!» Но звать не надо. Звать нельзя. Она тут, ее мать. Она вышла из гроба, она привела с собой на помощь толпу мертвых старух, чтобы преследовать Люку. Нет, эта ужасная старуха не ее мать, ее мать была красивая, молодая, нежная. Она никогда не обижала Люку. Даже после смерти Веры. Она только отослала Люку к своей сестре. В день отъезда, уже на вокзале, в последнюю минуту, она вдруг крепко обняла Люку, прижала ее к груди, к черному креповому вуалю и, плача, стала целовать ее. Так Люка навсегда запомнила ее. Люка ясно понимает — это не ее мать. Это веронал, это страх, это усталость. Не надо смотреть в окно. Надо ехать, надо править автомобилем.

Лес наконец кончается. На дороге опять светло. И дождь прошел. Теперь уже скоро Фекан. Люка отряхивается, стряхивая с себя остатки страха и сна. Это был сон. Никакого леса здесь не было. Солнце пышно и празднично опускается за вспаханными полями, за розовым рядом цветущих яблонь. Больше не страшно, совсем не страшно. Это солнце и эти яблони как обещание спасения. Да, спастись, выбраться, выкарабкаться. Не погибнуть, не пропасть. Еще не поздно, еще возможно. Она спасется, раз хочет спастись. Она знает, горе лечится, как болезнь. Нет неизлечимого горя. Все возможно, пока человек жив. Она, Люка, еще жива. Она жива и, наверно, будет жить еще долго, до самой глубокой, восьмидесятилетней старости. Через десять лет она будет с улыбкой вспоминать: «Какая я была бедная, глупая. И молодая, ах, слишком молодая для такого горя». Да, и горе, и Тьери, и она, и любовь — все станет прошлым. Ничего необычайного, трагического, единственного нет ни в ее любви, ни в ее горе. Все это банально. Сотни женщин переживают то же самое. Гордиться нечем. Да, она погибает из-за Тьери. Но это банальная, недостойная, низкая любовь. Она ведь знает, что он пустой, бездушный, жестокий. Что он никогда не любил ее, что она была для него только фетишем, porte-bonheur’oм[[25]](#footnote-25), чем— то вроде слона с поднятым хоботом или четырехлистного клевера. Что он суеверный трус. Что он бесчеловечен. Она влюбилась в него за блеск, за власть, не стараясь даже узнать, понять его. И когда она стала принадлежать ему, как его пиджак, его галстук, ей уже было все равно, что он бесчеловечен. Он занял собою все ее мысли, все чувства, весь ее горизонт. Она продолжала его любить от слабости, от подлости, от одиночества. Да, даже от одиночества. Если бы она не была так непонятно одинока. В Венеции, ожидая Тьери, с милыми венецианскими путешественниками ей было почти хорошо. Они ходили держась крепко под руку, они ездили в одной гондоле. Они были всегда вместе. Вечером веселая хорошенькая Арлетта прибегала к Люке в своем пестром халатике, похожем на клетку с экзотическими птицами и, сидя на краю постели, птичьим щебетом рассказывала о своей любви, о своей карьере, о Давиэ. И, смеясь, прерывала себя: «А Давиэ ждет меня». — «Он не будет сердиться?» — сонно спрашивала Люка. «Нет, нет, он вас очень любит. Я не уйду, пока вы не уснете. Но вы все-таки постарайтесь уснуть, маленькая Дэль, чтобы он не очень долго ждал». И Люка старалась. И Люка засыпала.

Если бы в ту последнюю ночь Арлетта пришла к ней, все сложилось бы иначе. Она была бы сейчас с ней где-нибудь в Италии, в горах. Она все рассказала бы Арлетте в ту ночь. Но Арлетта побоялась придти из-за Тьери. Но Люка была горда и скрытна. О, глупая гордость, когда гордиться нечем. Ни своей любовью, ни своим горем, ни собой. Это все банально, о, до чего банально! И все-таки это больно. О, до чего больно!

Цветущие яблони, ручей и за поворотом дороги низкий холм. Мимо, мимо. Скорей, скорей. К морю.

И вот Фекан. Она въезжает в город. Тяжелый, мрачный собор на площади. Кафе, банк, магазины. В тот день на площади был базар, и пестрые палатки придавали ей какой-то средневековый вид. Но сейчас она пуста и скучна. С моря запах, острый и соленый. Нет, не с моря — из складов трески. Люка на минуту закрывает глаза, вдыхая его. Тогда запах трески казался противным, но сейчас он нужен ей так же, как море, как отель, как комната номер шесть. Он один из элементов, из которых она построит успокоение.

Она едет по узким улицам мимо бенедиктинского монастыря, где бенедиктинские монахи приготовляют бенедиктин[[26]](#footnote-26). Впрочем, может быть, здесь только цветники и парад, а бенедиктин варят где-нибудь в другом, более будничном месте. Она не знает, они не осматривали, как это делают туристы, ни монастыря, ни достопримечательностей. В то утро, после ночи, проведенной в счастливой комнате, они отправились на скалу к маяку.

Они взобрались на самый верх горы. Оттуда было видно все море, и все небо, и белые скалы, с двух сторон охватывающие голубые волны. Там внизу налево был Фекан с пестрыми палатками, музыкой и домами, направо скалы были дикие, трагически-бледные и нелюдимые. По узкой тропинке они подошли к обрыву. Она поскользнулась, ей стало страшно, она схватила Тьери за руку. «Не бойся», — голос Тьери звучал непривычно нежно, здесь, на высоте, на ветру, под широким небом. Она прислонилась к его плечу. Она чувствовала себя совсем по-новому от этих скал, обрывающихся у ее ног, от этих волн, шумевших внизу. Совсем по— новому, робко и смущенно, с острой полнотой ощущая глубоко скрытую в ней таинственную женственность. «Я совсем счастлива сейчас». Она вздохнула. «Если бы сейчас оступиться, сорваться вниз...» Но этого она не сказала. Этого она даже не подумала, она только смутно поняла это по извилистому полету чайки. Около маяка стояла старинная рыбачья церковь, похожая на сарай. Они вошли в нее.

Церковь была очень светлая, длинная, со стенами, сплошь увешанными мраморными досками с благодарностью за спасение. Между этими благодарственными досками висели картины. Старые, не очень искусные картины в золоченых рамах. И все они изображали море, и корабли, и лодки, вернее гибель этих кораблей и лодок в море. Все виды, все сорта, все разнородности гибели в море. Корабль, затертый льдами, тонущая в бурю лодка, шхуна, охваченная огнем. Только гибель в море. Еще и еще. Изображение той гибели, от которой чудом спасся благодарящий. Чудом или геройством.

Они, держась под руку, обошли церковь, останавливаясь перед каждой картиной. Но оттого, что Тьери был здесь рядом, оттого, что рука его нежно сжимала ее локоть, Люка никак не могла представить себе тоску и страх этих гибнущих моряков. Она ясно видела себя и Тьери моряками на этой горящей палубе с развевающимися по ветру пылающими парусами или тут, на другой картине, — затертыми льдами, слышала треск корабля, ломающегося о льдины, которые сейчас вместе с кораблем переломают их кости, чувствовала холод приближения огромной волны, которая вот сейчас рухнет, слизнет их с Тьери с палубы, проглотит, похоронит их...

Да, она обостренными счастьем и влюбленностью глазами видела приближение гибели, но страха, но тоски не умела почувствовать в то утро. Ведь Тьери был всюду рядом, они гибли вместе, навсегда. Все было так просто, героично и прекрасно.

— Ты плачешь, Люка?

Она улыбнулась, моргая влажными ресницами. Ей хотелось объяснить ему все — свою страсть к морю, свое восхищение ро мантической судьбой моряков, и жалость к ним, и желание уехать вместе с Тьери в кругосветное плавание. Но она только молча поставила свечу перед статуей Св. Девы, ни о чем не прося Ее. Они вышли из церкви взволнованные, тесно связанные морем и смертью. Навсегда, на всю жизнь связанные, как ей казалось тогда, морским, неразвязывающимся узлом.

А теперь она гибнет, тонет одна. Как она будет молиться завтра в рыбачьей церкви за всех гибнущих, тонущих! За всех спасенных, за всех погибших и за себя.

Люка выезжает на набережную. Солнце только что зашло, и море еще светится его теплым светом. Люка бессознательно смотрит на волны, на небо, на парус на горизонте, и губы ее бессознательно вздрагивают. Это еще не улыбка, это только бессознательная попытка улыбки. Там, по ту сторону автомобильного стекла, в той нежной прелестной жизни, в которой Люка не участвует, настал счастливый вечер, и Люка, как бы на минуту выйдя за пределы своего тела, своего автомобиля, очутившись по ту сторону всего этого, растворяется в блеске и покое счастливого вечера. Но это только кажется. Она тут, в автомобиле. Вся — со своим горем и своей судьбой, из которой нельзя вырваться. Автомобиль катится по набережной, перелетает через перила, врезается в волны. «Гибну, тону одна, — вспыхивает в ее мозгу. — На самое дно океана». Но это тоже только кажется. Она осторожно и медленно подъезжает к отелю.

Она останавливает автомобиль. Ноги плохо слушаются и дрожат. От усталости, от волнения. А вдруг комната номер шесть занята и она приехала напрасно? В холле пусто, но Люка не может ждать, она стучит в закрытую дверь. Дверь открывается, и выходит маленький старик.

— Комната номер шесть свободна? — спрашивает Люка.

И он кивает:

— Все комнаты свободны, весь дом.

Люка вздыхает — значит, она не напрасно приехала. Багаж? Нет, у нее нет багажа. Заплатить вперед? Она раскрывает сумочку. Она уехала, не посмотрев даже, достаточно ли у нее денег. Если бы денег не хватило... Но денег, оказывается, достаточно. И это вторая удача. Поворот судьбы. Дальше все будет хорошо.

Шестой номер очень велик для одного человека. Две постели. Может быть, мадам возьмет комнату поменьше и в сад? Там не так шумит море.

Нет, нет. Я знаю. Мне не мешает.

Да, в ту ночь им тоже не мешали ни море, ни вторая постель — они спали вместе в одной.

Она входит в комнату. Какая огромная, как зал. Тогда она казалась меньше, более жилой, от присутствия Тьери.

Вот здесь, вот сейчас. И все совсем как было. Обои с птицами и цветами, и та же лампа с шелковым абажуром на ночном столике, и та же хрустальная люстра.

Обои в цветах и птицах... В то утро, торопясь одеться, прислушиваясь к всплескам воды в ванной, она нечаянно тронула одну из множества красногрудых птиц, застывших в неподвижном полете над желтой хризантемой. И птица сразу ожила, встрепенулась, подобрала крылья, нахохлилась, клюнула Люку в палец и зачирикала. Но Люка торопилась, сейчас выйдет Тьери, а она еще не причесалась. Она рукой отмахнулась от чирикающей птицы — не до тебя, — и птица покорно снова вошла в узор обоев. И сейчас, вспомнив о ней, Люка обводит всех птиц пальцем. Это было здесь, на этой стене, но которая из них? Нет, все они обычные напечатанные птицы, они не хотят, не могут ожить. Их напрасно трогать, они не клюнут ее, они не зачирикают.

Она запирает дверь на ключ. Завтра утром она будет спокойной, почти веселой. Она раздевается, она ложится, гасит свет. Сквозь задернутые шторы на среднем окне слабо светит луна. Как шумит море. В ту ночь море тоже шумело. Но никаких воспоминаний о той ночи не возникает, и это хорошо. Она сейчас заснет, а когда проснется, все уже будет в порядке — утро, мысли, время. Только скорее заснуть. Она ложится на спину, стараясь распустить все мускулы, стать как можно тяжелее. «Я тяжелая, как свинец. Я засыпаю, я уже сплю». Да, она действительно спит. Она слышит сквозь сон гул моря и свой собственный голос над самым ухом: «Не спи, не спи, не спи. Поздно спать, некогда спать». Толчок под ребра, изнутри. Будто сердце толкнуло, разбудило ее. Сна больше нет, никакого сна — такая ясная, сухая голова, и в ней, как мотор, щелкают обрывки мыслей, отдельные слова. Она открывает глаза. Гул моря. Лунный свет на ковре. Бессонница, бессонница, бессонница. Люка садится. Лампа тускло вспыхивает под красным абажуром. Тревога, волнение, бессонница. Ей страшно в этой огромной бессонной комнате. Пустые бессонные зеркала, бессонный гул моря. Она прижимает холодную руку к груди. Чего она боится? Это море, это Фекан.

Страх сейчас пройдет. Она встает, она зажигает люстру. Люстра хрустальная и очень яркая. Но страх не проходит, напротив — от этого яркого, хрустального, льдистого света в пустой комнате становится еще страшнее. Ей хочется убежать, спрятаться, забиться куда-нибудь в угол. Она снова ложится, натягивает одеяло на голову, подбирает колени к подбородку. Так, комком, вся тут, и бояться нечего. Но она не может лежать неподвижно. Она сбрасывает одеяло, она садится. Чего ей бояться? Что может еще случиться? Брошенная, беременная, одинокая. «Как жаба», — говорит она громко. Какая жаба? Зачем, почему жаба? Она забыла. «Жаба, жаба, жаба», — стучит в голове, но объяснения нет, только очень больно от этого слова. Нет, это не воспоминание, это предчувствие. Это Тьери скажет ей в Венеции, когда они наконец после такой разлуки, такого горя, встретятся в Венеции. «Ты противна мне, как жаба». Неужели скажет? Неужели он совсем без сердца? Камень, хуже камня? Но она уже знает, это не предчувствие, это уверенность. Да, ей придется услышать собственными ушами, увидеть собственными глазами, как его губы скажут и повторят: «Ты мне противна, как жаба». «Как жаба» — она не сможет перенести это. Она умрет тут же перед ним, упадет у его ног и не встанет больше. Да, после этого нельзя жить. И все-таки она поедет в Венецию, она встретится с Тьери. Ей страшно. Это страх, ни с чем не связанный, ни с болью, ни с горем, абстрактный страх, существующий сам по себе, как воздух, как свет. «Мне страшно», — тихо стонет она. Но это сон, это только дурной сон. «Спи, Люка, спи», — уговаривает она себя. А вдруг ей снова приснится мать? И почему, почему мать? Если бы еще Вера. Вера прокляла ее перед смертью. Пускай бы уже Вера. Только бы не мать. Нет, она не хочет, она боится уснуть. Так плохо ей еще нигде, никогда не было. Три часа, все спят, в коридоре темно. Надо ждать утра. Ждать возможности уехать. Вот оно, это «там, где я была счастлива». Она сидит на постели. Ей холодно, ее голые ноги, ее голые плечи зябнут. Море шумит, люстра освещает пустую комнату, раскрытую постель и ее, Люку, такую потерянную, такую одинокую, ее — крепко затянутый узел боли — комок боли и горя на белых ледяных простынях. «Если сейчас хлопнет дверь, стукнут ставни... Я не выдержу», — громко говорит она. И сейчас же так же громко обрывает себя: «Выдержишь, еще и не то выдержишь».

Рассвет. Люстра сворачивается, уменьшается. Сияющие хрустали тухнут, как свечи на рождественской елке, тают, как ледяные сосульки, один за другим. И вот уже люстра — только оскорбительное жирное желтое пятно в голубом холоде морского утра.

Еще очень рано. Обрывки ночной сырости еще толпятся на дороге, обнимаются, прощаются, возвращаются снова, решаясь расстаться друг с другом. «Прощай, прощай на вечную разлуку». Разлука, грусть, прощание омрачают солнце. Совсем скромное, не оскорбительное, притушенное утро.

Должно быть, красиво. Будто она не сама видит, а читает описание. И должно быть, холодно. Да, должно быть, очень холодно. Она слышит, как стучат ее зубы. Она едет. Мысли рассыпаются перед глазами маленькими радужными дисками. Не надо смотреть на солнце.

Впереди, далеко в поле, на розовом стеклянном горизонте стоит дерево. Совсем одиноко, в диком, первородном одиночестве раскинув ветви молитвой о помощи, о дружбе, о сочувствии. Люке хочется остановить автомобиль, побежать через вспаханное поле к дереву, обнять его, прижаться к нему, почувствовать, как из его коры в горьком одиночестве капает смола. Нет, не только обнять, утешить его, а остаться с ним, стать самой деревом, сплестись с ним ветвями в высокой небесной дружбе, сплестись с ним корнями в теплой земной любви. Но она так слаба, так устала. До последнего предела, за последним пределом усталости. Она едет дальше. Одинокое дерево на горизонте, исчезая из зрения, переносится в память болью одиночества. Одиночество, одиночество. Она вздрагивает. Страшнее всего одиночество. Не быть одной, только не быть одной. Выйти из одиночного заключения своей комнаты, своего сознания. Найти дружбу, сочувствие, протянутую теплую руку, протянутую для приветствия, не для прощания. Горе лечится, как болезнь. На свете столько людей. Она перебирает имена как фишки картотеки. Не то, не то. Арлетт, Давиэ, Тьери и Тереза, Герэн и опять Тьери. Лермонтов, Маша... Нет, Лермонтов — книга, а Маша — горничная, служившая у них с Павликом. Удар между глаз — Павлик. Чувство самосохранения, без участия сознания, целиком занятого находкой Павлика, уже останавливает автомобиль. Люка беспомощно мигает. Слезы текут из ее глаз. «Павлик», — всхлипывает она, будто только что услышала о смерти Павлика. И вдруг улыбка сквозь слезы, как радуга, освещает ее лицо. Нет, не о смерти Павлика, о жизни с Павликом, о возможности жизни.

В Париж. За Павликом. Скорей, скорей. Только вряд ли он остался жить в их прежней квартире. А если он не оставил адреса? А если он уехал из Парижа? Она все равно найдет его. Она будет искать его дни, недели, месяцы, пока не найдет. Сил у нее хватит. Конечно, хватит. На поиски, и на встречу, и на все новые огорчения. Это в самом начале, в прошлом году ей казалось, что у нее нет сил, что она вся проносилась до дыр, изорвалась в лохмотья, что она слабая, больная, усталая. Но теперь она чувствует, что у нее, брошенной, беременной, несчастной, сил хватит и на сегодня, и на завтра, и на всю бесконечную жизнь. Сил хватит на все, что еще ждет ее впереди.

Булонский лес. Мюэтт[[27]](#footnote-27). Пасси. Здесь каждый камень исхожен ногами Павлика. Вот их булочная, вот на углу кафе, где он покупал папиросы, и вот, наконец, их дом.

Она останавливает автомобиль. Сколько раз она входила в этот подъезд, сколько раз смотрела из тех окон в третьем этаже на улицу. Нет, это прошлое не кажется ей прекрасным. Даже и теперь не кажется.

Она стучит в ложу консьержки. Консьержка щурится и притворяется, что не сразу узнает ее.

— Ах, это вы, мадам. (Прежде она звала Люку мадам Дэль, но теперь, по мнению консьержки, ее, должно быть, не следует звать честным именем мужа.) Вы так изменились (изменились — это значит изменили порядочности, изменили мужу, стали авантюристкой в мехах).

Люка так и понимает. Люка краснеет. Нет, Люка не получит адреса мужа. Консьержка не знает его. Она мстит Люке. Люка — порок. Порок должен быть наказан.

Дэль уехал из Парижа совсем. Кажется, даже за границу. Но Люке непременно нужен адрес. Она широко открывает сумку, показывая лежащие в ней стофранковые бумажки. Может быть, консьержка все-таки напряжет память, вспомнит? И, глядя в глубину сумки, консьержка вспоминает:

— У меня где-то записано.

И Люка получает адрес Павлика, написанный его собственной рукой. Конечно, можно было бы теперь захлопнуть сумку и уйти, даже не поблагодарив, но Люка кладет сто франков на стол. Как быстро, как дешево ей достался Павлик.

Она едет на почту, посылает ему телеграмму. Может быть, было бы проще самой поехать к нему в Лион? Нет, надо отдохнуть, подготовиться к встрече.

«Приезжай немедленно». Подпись. Адрес. И еще: «Привези Тролля». Так. Без объяснений. Объяснение потом, когда он будет с ней. Главное, чтобы он был с ней.

Конец путешествия. Отель. Зеленая комната. Она сейчас же ложится. Зеленые стены, как деревья, зеленый ковер, как луг. Нет, путешествие еще не кончено. Она все еще едет. По зеленой траве, в зеленом сне. Ее будит стук. Не надо просыпаться — это дятел стучит в лесу. Нет, это стучат в дверь. Она открывает глаза. Окно матово-серое, комната полна холодными, дымными сумерками. На зеленом полу, как остатки недоеденного обеда, обрывки недосмотренного сна: мост, перекинутый от окна к креслу, коза, щиплющая ковер, и в углу большой белый парус, треплющийся на ветру. Стук повторяется, громкий, грозный, предупреждающий об опасности.

— Войдите, — решительно говорит Люка еще спящим голосом.

Да, пусть это, что там стучит в дверь, войдет и покажется. Что бы, кто бы, откуда бы оно ни было, пусть оно войдет. Она ждет, она готова принять новую боль, новое оскорбление, новое горе.

Дверь вежливо отворяется. Серебряный поднос, лакей, телеграмма. Люка раскрывает телеграмму, и буквы, как мухи, трепеща крыльями и лапками, разлетаются во все стороны. Люка прижимает их ладонью к дрожащему листку: «Дайте свету». И свет сразу зажигается, и буквы, уже непохожие на мух, сами складываются в «Приеду завтра 9 утра. Целую. Павлик». Люка поднимает голову. «Приеду завтра», теперь только одна задача — дожить до завтра. Завтра Павлик будет с ней. Павлик, Павлик, Павлик. Она плачет. Она, жалуясь, рассказывает ему все с бесстыдной, жестокой, слезливой откровенностью: «Тьери бросил меня, бросил. Если бы не ты, не оттого, что это ты, а оттого, что у меня, кроме тебя, никого нет, и я не могу быть одна... Павлик, Павлик». Лгать, объяснять так, чтобы было лестно ему и не слишком обидно ей, она будет завтра. Завтра она скажет: «Павлик, я не могла забыть тебя. И ты мой муж. И ты такой добрый, милый». Это завтра, а сейчас она только повторяет, всхлипывая: «Бросил, бросил. У меня будет ребенок. И я так несчастна, Павлик».

Но плакать долго она не может, слез больше нет. Она вытирает сухие глаза. Какая скупость, скудность, скаредность. На все — даже на слезы. Ни щедрости, ни размаха, ни растраты себя. Плакать так, чтобы вся вылиться горем, болью, кровью, чтобы от нее осталась только пустая сморщенная кожа, как брошенная старая перчатка. Но нет, бездарность во всем — даже в слезах. Да, бездарность — как позорно она играла в фильме, что бы там ни говорил Давиэ. Это было горе, любовь, истерика — все что угодно, только не талант. Она бездарна, осторожна, рассудительна. Если бы хоть шалая вера в возвращение Тьерри, раскаивающегося, влюбленного. Но даже и этого нет. Совершенно ясно — Тьери никогда не вернется. О, бездарная ясность головы, не допускающая чудес. И эта бездарная практичность — она выписала мужа, она поступила правильно, разумно — она позвала Павлика.

«Бездарность», — громко говорит она и сжимает челюсти от ненависти к себе. Так тебе и надо. Злая издевательская радость трясет ее. Она отрывисто смеется. Смех, как глухой, голодный лай. Она трясется от смеха: «Так тебе и надо, бездарность». Никакой жалости к себе. И к нему, к Павлику, который спасет ее, тоже нет ни жалости, ни благодарности. Жалость, благодарность, любовь, восхищение — все это только для Тьери. Да, даже благодарность. Несмотря ни на что. И он прав, он тысячу раз прав. Разве можно такую любить? Такую бездарную, оплеванную, отвратительную «жабу»? Она вскакивает с постели, она подбегает к зеркалу, ища в нем подтверждения своей отвратительности. И останавливается. Там из глубины зеркала к ней бежит прелестное длинноногое существо, невинным жестом запахивая рубашку на груди. Такое до смешного романтическое, с измученными глазами и светлыми локонами, такое, будто нарочно выдуманное, умилительное. Но она не позволяет умилить себя. Да, она прелестна. Но она все-таки противна Тьери, как жаба. И он прав. Она и себе противна. Ей хочется ножом изрезать, изуродовать свое лицо, чтобы раз навсегда покончить с этой прелестью. Эта прелесть не имеет к ней никакого отношения, она не имеет на нее права. Эта прелесть — обман, ложь, как обманом, ложью было все — даже та первая слеза в зале «Плейель»[[28]](#footnote-28), из-за которой началось ее несчастье. Ножом изрезать, обезобразить, искромсать, чтобы на нее нельзя было смотреть без отвращения, чтобы она действительно для всех стала противна, как жаба. Для всех, как для Тьери.

Найти нож. Она подходит к комоду, открывает ящик, роется в нем. Ножницы. Можно и ножницами. Она берет их. Какие холодные! Пальцы вздрагивают, и ножницы падают на ковер.

— Я схожу с ума, — сознательно и грустно говорит она. — Мне нельзя оставаться одной. Ни минуты.

Она звонит. Входит горничная.

— Поднимите это, — Люка показывает горничной на поблескивающие на ковре ножницы. Взять их снова в руку она не решается. — И постойте здесь, пожалуйста, пока я оденусь. Нет, помогать не надо, только постойте.

Она одета. Она спускается в холл.

— Завтра приезжает мой муж. Приготовьте ему комнату.

Вот она подвела фундамент под ожидание. Теперь это уже не надежда, это реальность.

Она идет через улицу к своему автомобилю. Около автомобиля, под фонарем, стоит кто-то и ждет. Стоит и ждет, как когда то стоял и ждал ее Тьери. Нет, не Тьери, а Арсений. Она все путает. Но сейчас это Тьери. И он ждет ее, как когда-то ждал Арсений.

— Тьери, — кричит Люка, — Тьери!

Человек под фонарем поворачивается к ней и поднимает шляпу.

— Я схожу с ума, — объясняет ему она. — Но это вас не касается, — и она садится в автомобиль, громко хлопнув дверцей.

Она едет обедать. Да, теперь правильнее всего пообедать. Тем более что она не завтракала еще. И вчера тоже не завтракала и не обедала. Или нет, она опять путает, вчера в поезде с русским путешественником. Но это было не вчера, а неделю, две недели тому назад, безразлично когда.

Важно то, что она едет обедать в ресторан, где они часто бывали с Тьери.

Лакей приносит рыбу. Она жадно ест, она глотает не жуя, ей хочется хватать прямо с блюда рукой. В ней все дрожит от голода и жадности. Она кладет в рот большой кусок и вдруг выплевывает его на тарелку. Она сыта. Сыта до отвращения, до пресыщения. Зачем она заказала еще куропатку и спаржу? Оттого, что это любил Тьери. Но ведь не Тьери, а ей придется съесть или если не съесть, то просидеть здесь, пока будут подавать все это.

Она наливает себе вина. Пить приятно. Отвращения к вину нет. Она наливает еще стакан. И куда торопиться? До утра, до Павлика слишком много часов, слишком много одиночества.

Она поворачивает голову и видит человека во фраке посреди зала. Она не сразу понимает, что значит высоко, по-лебединому изогнутая рука и прижатая к плечу скрипка. Тьери? Нет, к Тьери он не имеет никакого отношения. Тогда зачем же он стоит, так решительно навязываясь ее вниманию? И вдруг она слышит мелодию с полутона, слышит оттого, что видит скользящий по струнам смычок. И вот уже целый оркестр поддерживает скрипку, и все кругом полно музыки, и уже нельзя ее не слышать. Люка закрывает глаза, но музыка не смолкает. Напротив, она вступает в свои права. Становится совсем спокойно, совсем легко. Музыка вытесняет мысли, вытесняет горе, занимает их место, подменяет их собой. Вот так сидеть — ни прошлого, ни будущего. Ни даже настоящего. Только музыка и покой.

Но одинокий, резкий, высокий, чистый звук вырывается из общей толпы звуков, и узкий зеленый блестящий лист бьется, как бабочка по ветру. И этот звук, и этот зеленый лист — одно и то же. Этот звук начало, этот лист его продолжение, и вместе они то же, что эта дрожь в сердце. Этот лист, этот высокий звук. Она поднимает руку, она опрокидывает стакан. Вино течет на скатерть, на платье, на ее колени.

Этот высокий резкий звук, этот узкий лист и эта дрожь. Она узнает их. Но когда это было? Когда? Она смотрит на расплывающееся по скатерти вино. В ту ночь. В ту последнюю счастливую ночь.

В ту ночь этот лист и этот звук означали счастье. Но сейчас? Сейчас, когда ей так плохо, зачем они ей? И вдруг она понимает — неужели же я так несчастна? Так несчастна, как была счастлива в ту последнюю ночь? И этот лист, этот звук не означают счастья, как не означают и горя. Они только высшая точка, такое напряжение души, когда уже безразлично: счастье или горе. Предел волнения и чувств. Не все ли равно, каких волнений и чувств. На такой высоте, в таком плавящем огне, в таком разреженном воздухе счастье, как и горе, освобождается от земного тяготения. Горе равно счастью и счастье равно горю. Полет над жизнью, над судьбой. Полет из этого винного пятна на скатерти, за границы памяти, за границы чувств, за границы жизни в ледяное равнодушие чистым звуком, узким зеленым листом. Тьери? С высоты такого равнодушия даже и его не видно, даже о нем не помнишь. Губы еще повторяют «Тьери», но это лишено всякого смысла, это похоже на птичий крик, тьи-тьи, бессмысленный, жалобный крик. Тьи-тьи...

Лакей вытирает салфеткой скатерть, платье, приносит еще вина. Она пьет. В сущности, жизнь совсем не то, что она думала. Она ошиблась. Она очень ошиблась. Она начнет все сначала. Ведь еще не поздно. Ей только двадцать один год. Музыка. Она любит музыку. Она совсем не знает музыки. Она будет учиться петь. У нее хороший голос. Она станет певицей. И сколько книг надо прочесть, она такая невежественная. Она ничего не знает, ничему не училась. Но еще не поздно. Следующий фильм она будет крутить с Давиэ. Может быть, она и не совсем бездарна. Но, даже если она бездарна, она всегда найдет работу. Оттого что ее уже пустила по кругу опытная рука. Нет, знаменитости она не хочет. Блестящая судьба, какой вздор. Павлик, Тролль. С ними она никогда не расстанется. Ребенок? Это будет их общий с Павликом ребенок. Нет, Павлик никогда не упрекнет ее. Ведь Люка для него то же, что Тьери для нее, Люки. Разве она посмела бы в чем-нибудь упрекнуть Тьери? Сына она назовет Миша, в честь Тролля. Медведи обыкновенно Мишки, это только у Тролля такое глупое имя. Приносят мороженое. Она ест его. Она пьет кофе с коньяком. «Я, кажется, пьяна, — и насмешливо отвечает себе, по-птичьи склонив голову набок: — Тьи-тьи, пьяна, тьи-тьи». Не думать о Тьери. Павлик, дом, сын. Она полюбит сына больше себя. Это будет нетрудно. Она совсем разлюбила себя. А Павлик такой милый, с ним будет хорошо.

Она платит, она встает. Полоски ковра скручиваются и убегают из-под ног. Она идет осторожно к выходу, стараясь перешагнуть через них, как через хворост на лесной тропинке. Лакей догоняет ее у самой двери.

— Мадам, вы забыли ваших лисиц.

Она поворачивает к нему голову, она, не понимая, смотрит ему в лицо. Лакей вдруг горбится и отступает, и она понимает — это оттого, что он увидел ее глаза. Чтобы даже лакей почувствовал, этого она не ожидала. Она опускает веки.

— Спасибо, — говорит она почти весело и накидывает лисиц себе на плечи.

И чувствует, как вместе с этими лисицами ей на плечи легло все прежнее отчаяние, вся прежняя любовь к Тьери. Любовь, отчаяние. Нет, так легко от них не отделаться, их не забыть на стуле. Куда теперь? В отель рано. Еще только десять. Целых двенадцать часов до Павлика и сколько километров! Она поедет в Версаль, она проглотит немного пространства, немного времени. Так легче ждать. Она не могла бы дождаться утра без автомобиля, прожить все эти часы на одном месте, без движения. Так легче, так утро скорее наступит.

В открытое окно влетает ночной ветер и сухой лунный свет, засыпающий ей глаза сверкающей пылью. Сквозь черные ветки блестит она сама, эта луна. Луна сквозь ветки напоминает детство. Люка смотрит на луну. Годы, как листья с дерева, шурша, спадают с нее: три, пять, восемь. Люка смотрит на круглую, голу бую детскую луну с таинственным радостным предчувствием жизни. Все еще впереди и сколько всего — горя, волнений, радости — лицей, Арсений, Павлик, студия, Тьери и еще много, много, о чем даже догадаться нельзя. Жить! Подольше бы только жить. Осторожней, осторожней. Машину занесло на повороте. Я пьяна. Я совсем пьяна. Но как хорошо жить! Как хорошо. Дорога блестит, деревья чернеют. Луна уже не сбоку. Луна выплыла в самую середину черного неба. Она стоит высоко над дорогой, она светит прямо в лицо Люке. Люка смотрит на луну, ей трудно отвести глаза от луны.

Дорога вдруг заворачивает направо, белая, обсаженная цветущими яблонями. Но ведь здесь не было поворота, не было яблонь. Белая дорога поднимается вверх, прямо к небу, прямо к луне. Люка круто заворачивает на белую дорогу, и автомобиль несется между белыми яблонями, все выше и выше. И вот уже Люка стоит на мосту и Тьери бежит ей навстречу: «Это Венеция, Люка. Неужели ты не узнаешь?» Они стоят на мосту, крепко обнявшись.

Нет, она не узнала бы. Так вот она какая, Венеция.

В облаках, под черным горбатым мостом, проплывает голубая венецианская луна. И еще ниже где-то, совсем далеко, в детской Люки, между рядами игрушечных деревьев, сверкая желтыми, круглыми фонарями, катится белый игрушечный автомобиль. Очень прямо, очень быстро. Но вот он сворачивает, налетает на дерево и останавливается. И в окно автомобиля, как птица из клетки, вылетает светловолосая голова куклы и ударяется о ствол.

Но Люке некогда смотреть на то, что происходит там, внизу, в ее детской, с ее игрушками. Она вспоминает, что она стоит с Тьери на новом мосту, что надо пожелать, и желание исполнится. Пожелать здесь, на новом мосту, в Венеции. Она смотрит в освещенные снизу луной глаза Тьери и громко говорит.

— Никогда не расставаться. Вечно быть с тобой, Тьери.

Так волшебно, поэтично, неправдоподобно. Все: и горы белых лилий, и белый гроб, освещенный солнцем, и свечи, и слезы, и горе, как ветер, клонящее головы провожающих. Будто сцена из фильма, а не настоящие похороны.

И во всей этой неправдоподобности правдоподобна, реальна только мертвая Люка. Мертвая Люка в гробу. Кровоподтек на лбу покрыт тюлем, как фатой. Длинное белое платье. Она не похожа на невесту. Нет, скорей на девочку в день первого причастия, на одну из тех девочек в фате и с цветами, которыми сейчас полны улицы Парижа.

Мертвое лицо Люки. Не девическое, даже не детское — кукольное лицо. Когда кукла еще в работе и ей еще не придали никакого выражения. Решительно никакого. Отсутствие всякого выражения, невозможное, пока человек жив. Но Люка мертва, и это сразу видно. Она не кажется спящей, она мертва. Смерть не придала ее лицу ни мраморной прекрасности, ни гордого покоя. Смерть не дала ему ни того знаменитого упрека: «Ах, что вы со мной сделали?», ни просветленной кротости, ни строгости, ни святости. Нет, смерть, ничего не дав ему, сразу, не дожидаясь тления, покончила с этим лицом, уничтожила, стерла его. Эта белая девочка-кукла совсем не похожа на живую Люку. Как будто Люка состояла только из оживления, прелести и движения. Она даже не красива, эта кукла. Это не Люка, это труп Люки. Отвратительное слово «труп» совершенно точно определяет это мертвое лицо, это мертвое тело.

Люка мертва навсегда, нельзя себе представить, что эти мертвые веки могут открыться, эти мертвые губы — вздохнуть, и даже чудо воскресения, обещанное всем, кажется здесь невозможным. Мертва навсегда. Но страсть, которая еще так недавно жила в Люке, не успела еще улететь, найти себе новое место в мире, она еще тут, она сиянием свечей, запахом лилий, церковным пением входит в кровь провожающих, заставляя их так страстно плакать. Так страстно, будто сама Люка оплакивает себя их слезами. Мертвое лицо Люки, лицо куклы. Но, если вглядеться, от него, сквозь свечи, пение и цветы, как сквозняк, как струйка ладана тянет еле уловимым страхом. И все сквозь горе и слезы смутно чувствуют этот страх. Да, чуть-чуть страшно. Чуть-чуть страшно всем — Герэну, и статистам, и Лоране, и даже Павлу Дэль.

Тьери стоит далеко от гроба, у самого входа в свадебно-похоронном официальном рединготе, с свадебно-похоронным официальным выражением лица. Он один во всей церкви кажется равнодушным. Но и ему страшно.

И вот уже надо идти прощаться. Нет, ему страшно. Он не пойдет. И вот уже гроб выносят из церкви.

Лоранс стоит на паперти сгорбленная от горя рядом со старухой-нищенкой, сама как старуха нищенка. «Это, наверно, подруга Люки», — думает Павел Дэль. Она плачет, она всхлипывает, затыкая рот платком. Павел Дэль подходит к ней ближе. Она роняет платок будто нарочно, чтобы дать ему возможность заговорить с ней. Он поднимает платок. Но она плачет, она не замечает его.

— Простите.

Ему непременно надо поговорить с ней. Она, наверно, знает, она подруга Люки. Она поворачивает к нему плачущие, отсутствующее газа.

— Вы уронили, — он протягивает ей платок.

Но она не берет платка. Платок не доходит до ее сознания.

— Спасибо, — все-таки говорит она и отворачивается.

Но он не может оставить ее в покое.

— Вы очень любили Люку?

Она хочет ответить, но только всхлипывает.

— Вы были ее подругой? — она трясет головой, слезы текут по ее щекам. — Она была моей женой, — объясняет он свою настойчивость, — и я хотел бы у вас...

Но она прерывает его.

— Вашей женой? — она протягивает ему руку, она крепко жмет его руку своей маленькой рукой. — Какой вы несчастный. Господи, какой несчастный, — все человеческое сочувствие, вся готовность разделить его горе смотрит на него из ее глаз. Ей хочется обнять его, утешить, прижаться лицом к его черному пальто. — О, какой вы несчастный, — она находит в толпе своего отца, подзывает его, знакомит их. — Подумай только — ее муж.

— Поедемте с нами на кладбище, — просит Лоранс, и Павел Дэль соглашается.

Катафалк и повозка с цветами медленно трогаются.

Павел Дэль садится в автомобиль Герэна. На минуту он забывает, куда и зачем едет. Возможность расспросить Лоранс о живой Люке становится важнее последних проводов мертвой Люки.

— Вы были дружны? — спрашивает он.

Лоранс качает головой.

— О, нет, — она только восхищалась Людмилой Дэль. Как все, кто ее хоть раз видел. — Я даже не была с ней знакома. Но мой отец хорошо знал ее.

Герэн кивает: да, он хорошо знал ее. Да, он тоже восхищался ею.

— Она говорила мне о вас, — вспоминает Павел Дэль. — Но отчего?..

Губы его дрожат, он не может кончить фразы. Но Герэн и так понимает. О чем может спрашивать этот несчастный, как не о смерти Люки?

Безрассудная смелость, вера в удачу. И она всегда неосторожно правила. И она была переутомлена. Только что кончила картину, накануне вернулась из Венеции.

Все это Павел Дэль знал по газетам, по рассказам. Не это ему нужно.

— Вы знаете, она вызвала меня телеграммой в день... — он останавливается. — Я приехал утром, она была уже... — он снова останавливается. — «Приезжай немедленно». Больше ничего. Я не могу найти объяснения, почему именно в тот день...

Но Лоранс сейчас же находит объяснение.

— Ведь это совсем понятно. Она кончила фильм, она вернулась из Венеции. Оттого она и позвала вас, — говорит Лоране логично, ясно, неоспоримо.

Да, объяснение найдено. Ложь, как молния, прорезает мрак правды. И правда бледнеет, тает, исчезает. Ложь, как молния, нет, как солнце утешительно сияет в пустом небе. И Герэн не спорит. Значит, это действительно было так. Павел все-таки спрашивает:

— Разве она была одна? Разве никакой любви?

Заплаканные ресницы Лоранс тяжело взлетают. Это не муж Людмилы Дэль. Это враг. Как он смеет? Людмила Дэль жила совсем одна. Ничего, кроме работы, карьеры. У Лоранс от возмущения не хватает голоса, она поворачивается к отцу.

— Расскажи ему.

И Герэн рассказывает — то, что ждет от него Лоранс. Он сам говорил ей, что слухи о связи Люки с Ривуаром только клевета и зависть, он сам создал аскетически-героический облик Люки, которым так пленилась Лоранс. Теперь поздно его разрушать. И зачем еще больше огорчать этого бледного, обманутого вдовца? Так благороднее, человечнее, лучше. Перед памятью Люки, перед Лоранс, даже перед собой. Чистота Люки восстановлена.

— Конечно, она позвала вас оттого, что кончила работу.

— Она в телеграмме просила привезти плюшевого медведя. Она была еще совсем... — но договорить Павел не может, он плачет. И Герэн тоже вытирает глаза, — совсем девочка... Плюшевого медведя.

Гроб Люки опустили в могилу. Тьери вслед за другими бросает горсть земли на крышку гроба. Резкий звук, как удар — будто он ударил мертвую Люку. Он поворачивается. Теперь все. Теперь можно идти. Он молча проходит сквозь толпу. Нет, он не виноват. Это несчастный случай. Но лучше все-таки уйти отсюда поскорее.

На боковой аллее стоит Тереза. В черном, под черной вуалью. Он хочет пройти мимо нее, но она берет его под руку.

— Оставь, — говорит он коротко и отнимает руку, — я просил тебя не являться. И эти вдовьи крепы смешны.

Она мелодраматично спрашивает:

— Тьери, она простит нас?

«Нас» — объединяющее их как сообщников преступления. Но он не чувствует себя преступником. Пусть только Тереза оставит его в покое.

— Никто не виноват. Несчастный случай.

Черные глаза под черной вуалью суживаются.

— А ты уверен, что несчастный случай? Что не она сама?

— Вздор.

Он ускоряет шаг. Она почти бежит за ним.

— Ты довезешь меня, Тьери?

— Нет, — говорит он, не поворачивая головы.

Она останавливается. Она приехала сюда из чувства вины перед этой прелестной, несчастной девочкой и еще из тайной гордости победы. Ей, Терезе, сорок лет, а Люке было только двадцать. Но победила Тереза. И окончательно. Навсегда. Бедная, прелестная девочка, она привезла ей цветы. Но она не успела даже положить их на могилу Люки. Она бросает цветы на первую встречную могилу. Она прижимает платок к глазам — ничего нет удивительного, что она плачет на кладбище. Они только утром вернулись из Швейцарии. Тьери был весел, никаких предчувствий. Они не читали газет в пути. Они узнали сейчас же. Еще в прихожей. От лакея. Тьери сказал только: «Тебе лучше поехать к себе из-за репортеров. Они уже приходили сюда». Это было правильно, и она, не споря, уехала домой. Нет, Тьери не казался огорченным. Даже меньше, чем она.

День прошел. Похороны заняли в нем немного места.

Тьери лежит на своем широком диване. Он думает о фильме. Он знает, что фильм провалится, не может не провалиться. А что потом? Разорение, крах. Все до последнего галстука, до последнего франка, до этой аллегорической последней нитки, которой сшито благополучие, дернув за которую все сразу расползется по швам. Еще две недели до появления фильма — отсрочка. Две недели на все про все. Потом опять как семь лет назад. Она принесла ему несчастье. Да, он знал, он даже ждал несчастья. Иначе и быть не могло, ее смерть окончательно прикончила все. Провал, крах, разорение, ничего другого ждать нельзя, ничего другого не будет.

Он просыпается ночью. Что ему снилось? Он смотрит на низкую лампу на столе, стараясь вспомнить. Ах да. О ней. Нет, не она снилась, он просто думал о ней во сне — во сне он не мог заставить себя не думать ней. И во сне он вспомнил. Они в ту ночь, перед самым разрывом, вернулись поздно, было очень холодно. Она дрожала, лежа в постели. Она никогда ни о чем не просила, но тут попросила чашку чая. И он сказал, что не умеет. Он лег и в тишине, в темноте чувствовал, как она дрожала от холода. Она лежала около самой стены. Ей, наверно, было бы теплее, если бы она прижалась к нему. Но она не смела. Чашку чая — это, пожалуй, единственное, что она попросила за все время. Почему он отказал ей? Он встает. Он идет на кухню. Он ищет спички, зажигает газ. Разве это так трудно? Вода кипит. Он заваривает чай. Он нарочно проливает кипящую воду на руку. Даже если бы он тогда обварился, разве уж это так больно и нельзя было вытерпеть? Он кладет в чашку полтора куска сахару, она всегда отламывала и оставляла кусочек на блюдечке, несет чай в спальню, ставит его на столик возле дивана. Вот и все. Больше она ни о чем не просила. Почему он отказал ей? Он, может быть, даже не обжег бы тогда руку, как сейчас. Но и ожог почти совсем не болит. А она дрожала от холода, и окно было открыто. Он ложится. Он тушит свет. Он засыпает снова.

Люку похоронили, и Павел Дэль остался на свете один. Смутная надежда, которую, как милостыню, подала ему Люка при их единственном свидании в кафе, куда она приезжала взволнованная, виноватая, счастливая. «Не умирай, Павлик, пожалуйста. Ты еще можешь мне понадобиться», надежда «еще понадобиться» Люке, дававшая ему силу жить, теперь исчезла вместе с Люкой. Теперь его жизнь не была основана ни на смысле, ни на надежде, ни на необходимости. Ни даже на привычке. С тех пор, как Люка ушла от него, каждый день, каждый час превратился в страдание. Всегда новое страдание, по-новому терзавшее его — любовью, ревностью, обидой, даже жаждой мести, страдание, к которому нельзя было привыкнуть. Надежда еще пригодиться Люке. Он мечтал о ней под шум машин на заводе. Хор рычагов и колес, как хор греческой трагедии, пел о роке, о судьбе, поддерживал веру в неизбежность встречи, утешал, обещал. И Павел ждал. Вечером, сидя один в своей лионской комнате — он перевелся в Лион, не было никакой возможности выжить в Париже, — сидя под лампой без газеты, без книги, перед молчащим радиоаппаратом, он прислушивался к шагам прохожих. Ему казалось, что он сейчас услышит шаги Люки, что она уже взбегает по лестнице, что сейчас откроется дверь, войдет она, войдет, станет на пороге и скажет: «Павлик, ты нужен мне». И хотя она была в Париже и приезд ее был совершенно невозможен, он каждый вечер ждал ее.

Но теперь она умерла. И жить, ждать, надеяться уже было нельзя. И все-таки после похорон он еще вернулся домой, он даже, будто устраиваясь уютнее в еще долгой жизни, снова стал хлопотать о переезде в Париж, чтобы напоследок посидеть на могиле Люки, чтобы проще было хоронить его на одном кладбище с Люкой. Он не спешил. Торопиться теперь было некуда. Было даже еще что-то, что удерживало его на земле, чего он ждал, чего он непременно хотел дождаться, без чего он не хотел уходить, — фильм Люки. Увидеть ее еще раз. Попрощаться с ней. Нет, ожидание еще не совсем кончилось. А пока можно ждать — можно жить.

Май проходил дождливый и холодный, полный тумана и в конце его, прячась в самом туманном углу, ждал день первого представления фильма. И вот он настал, этот холодный, дождливый день.

Павел Дэль входит в кинематограф, билетерша провожает его на место. Он видит издали Лоранс Герэн. Она тоже в черном, будто и она носит траур по Люке. Она кивает ему, делает знак рукой в черной перчатке, чтобы он пришел в ее ложу. Нет, он не может. Он должен смотреть на Люку один. Свет гаснет. Но это еще не Люка — это экспедиция к полюсу. Сияющие прозрачные льды... Ему кажется, что это не льды, а материализовавшееся, нашедшее свою форму страдание. Уже отработанное, уже отслужившее страдание, откричавшее, отплакавшее и теперь сияющее холодом и чистотой. Но зачем? Кому оно нужно? Он так долго ждал, он не может больше ждать. Он встает, он готов уйти. Он наступает на ногу соседу, он снова садится в кресло, закуривает папиросу. И вот наконец название фильма. Бесконечные имена и среди них Людмила Дэль. Имя Люки настоящее, паспортное, без прикрас, имя, которым ее при нем никто никогда не называл. Она, как обещала ему, сохранила его фамилию — Дэль. И это радует его как подтверждение, что связь между ними не разорвана даже смертью.

Он смотрит на экран. Где же она? Ее нет. Какая-то брюнетка, какой-то молодой человек. От волнения он не понимает, о чем они говорят. И какое ему дело до всего, что не Люка. Ее нет, ее все еще нет. Магазин, сад, какая-то зала и столько разных лиц и голосов. Но Люки нет, ни ее лица, ни ее голоса. Он больше не может ждать. Это обман, ее вовсе нет в фильме, это ложь, он уйдет, он не позволит издеваться над собой. Его нарочно заманили сюда именем Люки. Он не знает, зачем, для чего, но ясно, что это обман. От волнения он на минуту закрывает глаза. И вдруг треск, грохот, крики. И уже нельзя не смотреть, не видеть того, что происходит на экране. Горящий аэроплан падает с неба огненным столбом, вот уже грудой дымящихся щепок лежит на земле. Но Люки нет, Люки все еще нет. Только какие-то плачущие люди и обгорелые мертвые тела. На полотне теперь небо, луна и туманные облака, они ясно видны. И ясно виден белый ангел, бегущий по облакам. Он приближается, он останавливается, он растет. Это не ангел, это Люка. За ее плечами крылья. Она протягивает руки, она смотрит прямо на Павла светлыми мертвыми, пустыми глазами, ее губы шевелятся, она открывает рот — загробный глухой нежный голос несется по залу. Это она, Люка. Мертвая Люка. Это она, мертвая, пришла попрощаться с ним. Он хочет броситься к ней, схватить ее за руку, удержать. Он вскакивает, толкает соседей. Загробный голос Люки зовет его.

В зале зажигают свет. Кто это кричит таким звериным затравленным криком? Отчего его голова, как мяч, ударяется об пол и подскакивает?

Сквозь звериный крик другие человеческие крики: «Доктора! Неужели нет ни одного доктора?» Над ним наклоняются, по частям поднимают его, его руки, его ноги и уносят все куда-то. Только голова осталась рядом со шляпой и продолжает прыгать и кататься по полу. Но вот и ее уносят. И все вместе — ноги, руки, шляпу, голову — все, что составляет его, Павла Дэля — кладут на диван. И все это — шляпу, руки, голову, ноги, всего его, Павла Дэля, покрывают, как тяжелым ватным одеялом тишиной и темнотой.

Наконец человека, бившегося на полу, унесли. Его несли через всю залу, и он все еще продолжал кричать, он все еще дергался, и от этого казалось, что он борется, что он вырывается, что его тащат на казнь. Его уже унесли, но крик еще доносится через двери. Но вот снова тушат свет. Наступает тишина. Сеанс продолжается. Тьери сидит один в ложе. Он, когда раздался крик, не вскочил, не побежал вместе с другими, никого ни о чем не спросил. Этот крик даже не явился для него неожиданными. Он ждал скандала, он только не знал, какой это будет скандал. Но что-то должно было случиться, что-то обеспечивающее полный, неоспоримый провал. После крика этого эпилептика почти невозможно смотреть, почти невозможно слушать фильм. Крик живого звериного страдания, крик горя, крик смерти все еще стоит в воздухе. И оттого, что он такой безобразно настоящий, все голоса, все слова, все происходящее на экране кажется балаганом.

Нет, Тьери все-таки не думал, что это так оскорбительно, так глупо. И как фальшиво все играют. Даже Люка. Конечно, у нее не было таланта, но все-таки чтобы так бездарно — провал, провал, провал. Он смотрит на экран, кривя губы от злорадства, будто это провал конкурента, будто не он вложил столько времени, столько страсти, все свои деньги, все свое будущее в это бесславно крахнувшее дело. Этот вздор казался ему передовым, современным. Этот вздор, этот балаган — новым словом? Какое идиотство. Трудно досмотреть, досидеть до конца... Венеция. Сцены, которые они крутили без него. Люка в белом платье в гондоле, бледная, почти призрачная, почти прозрачная, такая, что странно, почему сквозь нее не просвечивают каналы, дворцы и гондолы. И вот она в театре, на сцене, с огромным веером из черных перьев, как щит загораживающим ее, такую слабую, от слишком бурных восторгов зрителей, готовых, кажется, унести, смести ее со сцены. Она поет. Сквозь злорадство, сквозь ненависть, сквозь презрение ко всему, что делается там, на экране, Тьери вдруг чувствует слабый укол. Как хорошо поет Люка, как безнадежно. Букет роз падает к ее ногам, и это вполне справедливо, заслуженно. Первое не фальшивое место в фильме — цветы после такого пения.

И опять Люка. Она ждет любовника в зале у окна, и в окно видна Венеция. На Люке широкое вечернее платье. Светлые локоны спускаются на ее голые плечи. Она ждет, она волнуется. У нее действительно измученное ожиданием и любовью лицо. Она ломает руки, и даже этот театрально-фальшивый жест кажется необходимым. «Жак», — зовет она таким голосом, что, если этот Жак только услышит ее голос, он не сможет не прийти. И он слышит, он входит. Разрыв. Да, это разрыв. Люка плачет. Она действительно плачет. Это настоящие, не глицериновые слезы. Она плачет, всхлипывая по-детски, так, что трудно разобрать ее слова. Плачет, как плакала при нем, Тьери. Она бросается на диван, ее широкое платье разлетается, она кидает подушки на пол. Она плачет все сильней, все беспомощней. Слова, слова... Не все ли равно, что она говорит? Она снимает с шеи брильянтовую цепь и возвращает ему. Без этого брильянтового блеска она становится еще воздушнее, будто брильянтовая цепь привязывала ее к земле и теперь уже ее ничего не удерживает. Она протягивает ему брильянтовую цепь таким умоляющим жестом, будто эта цепь может связать их. Но он, ее любовник, не берет цепи. Она целует его с мучительно-мученической нежностью, и он уходит. Тьери чувствует, что ему трудно дышать от жалости. Такая прелестная, такая обреченная на гибель. Нет, это не Люка, не та Люка, которая так же вот плакала перед ним, так же, с таким же лицом просила его. Нет, он не помнит о Люке, он забыл Люку. Но судьба женщины на экране, хотя он знает каждое ее слово, каждое ее движение, хотя он десятки раз просматривал, прослушивал их, волнует его.

Теперь она сидит на постели в наглухо застегнутой длинной ночной рубашке. Она читает какую-то книгу, ее наклоненное лицо совершенно ясно, совершенно спокойно, и это непонятно — ведь он, ее любовник, бросил ее.

По комнате ходит сестра милосердия. На столе у постели бутылки лекарств. Люка читает. Она поворачивает страницу книги, она поднимает голову и смотрит прямо перед собой на зрителей, на Тьери. Ее глаза, как два пятна горя на спокойном, молодом лице. Сестра милосердия поправляет подушку. И вдруг Люка захлопывает книгу, руки быстро пробегают по простыне, плечи двигаются, голова поворачивается то влево, то вправо, наклоняется, прислушиваясь к чему-то, и лицо меняется — тяжелое беспокойство затемняет его ясность. Она откидывает одеяло, она встает, такая тонкая, высокая, в длинной рубашке. Она поднимает локти, она даже немного подпрыгивает, как птица, готовая сняться с места и полететь. И только тогда за дверью раздаются шаги и входит он, ее любовник. Он протягивает к ней руки, он что-то говорит. Но она уже падает всей тяжестью, будто ее толкнули в спину, и он, подбежав, успевает подхватить ее. Они стоят обнявшись, ее лицо спрятано на его плече. Она произносит только одно слово — «навсегда».

Тьери встает. Он больше не может оставаться здесь. Сейчас конец. Пожимать руки, принимать поздравления, звучащие как соболезнования. Провал, и никто не может сомневаться в этом. И эти последние сцены ничего не спасли, они скорее еще увеличили ощущение провала тем, что совершенно выпадают, тем, что еще сильнее подчеркивает всю балаганность, отсутствие ритма и цельности. Фильм от них стал только еще отвратительнее, оскорбительнее. Провал. Он, Тьери, теперь конченый человек, и все знают, что он конченый человек.

Тьери возвращается домой. Он отпускает лакея: «Завтра вы мне тоже не нужны». Он закрывает окно, задергивает шторы, чтобы все было спокойно, тихо, мертво, чтобы воздух не врывался сюда из враждебного мира, чтобы воздух стал неподвижным, чтобы в нем уплотнилось отчаяние. Потому что это действительно отчаяние. Тьери ложится, закуривает папиросу. О чем думать? Думать не о чем. И разве он не ждал этого? Начинать сначала «борьбу за существование»? Но ему не так уже хочется существовать, чтобы снова пускаться в борьбу. Он лежит на спине, он смотрит на белый блестящий потолок. Если бы можно было просто уснуть. Но стреляться, вешаться, отравляться — на это у него нет сил. Он, такой энергичный... Но энергия вся съедена до последней крошки, а взять новой неоткуда, как неоткуда взять денег, успеха, надежды. Он тушит папиросу о стену, бросает ее на ковер. Он, такой аккуратный... Но аккуратность исчезла вместе со всем остальным, с энергией, с успехом. Она, как и все остальное, была только выдумкой, только ложным представлением о самом себе — я энергичный, работоспособный, я всего добьюсь, мне все удастся.

И вот он лежит в накуренной комнате с окурками, рассыпанными по ковру, с зажженной лампой, хотя ночь уже прошла, хотя уже день и телефон уже несколько раз бессмысленно надрывался в кабинете. За ночь ничего не изменилось. И что вообще может измениться теперь? У него болит голова, он перекурил, но курить все-таки занятие. Доставать из портсигара папиросу, щелкать зажигалкой, стараться пустить дым кольцом.

— Это не был несчастный случай, это было самоубийство, — в буром от табачного дыма воздухе голос Тьери звучит хрипло, и сразу становится ясно, что это о Люке, о ней, а не о себе он думал всю ночь. Это было самоубийство. Да это было самоубийство — он это понял вчера, глядя на экран. Как она просила, как пела, как плакала. В Венеции Давиэ кричал о таланте и все вместе с ним. Талант? У нее не было никакого таланта. Это было горе, это было отчаяние, а не талант. Она играла самое себя, она плакала о себе, она уже знала, что умрет, если... Тогда еще оставалось «если» — если, как в фильме, он не вернется к ней. Нет, это не была игра, это была ее жизнь. Оттого, когда любовник вернулся к ней и она так потрясающе упала, она не подняла, не показала своего лица. Лицо должно было быть счастливым, но изобразить счастье она уже не могла. «Навсегда» — сдавленным тихим голосом, спрятав лицо, спрятав горе. Да, он понял тогда, что она нарочно налетела на дерево. Она была горда, она не хотела, чтобы догадались. Она нарочно телеграфировала мужу, чтобы и подозрения не было. И никто действительно не узнал. Несчастный случай. Тьери бросает папиросу. Он больше не может лежать. Он знал, что она принесет ему несчастье. И себе тоже. Но об этом теперь не стоить думать. Он встает, он смотрит на часы — пять часов. Уже пять часов дня, а он еще ничего не ел. Он стоит босой на ковре, покрытом окурками, он надевает пиджак поверх измятой пижамы, хотя рядом лежит приготовленный лакеем халат. Но халат такой шелковый, богатый — его надеть было бы мучительно. Тьери поднимает воротник пиджака и, переступая через лакированные утренние туфли, босиком подходит к зеркалу и почти с удовольствием смотрит на себя. Да, это почти то, что надо. Небритое, опухшее, серое лицо, растрепанные волосы, поднятый воротник пиджака. И главное, эти бесцветные, тусклые, трусливые глаза. Это он, Тьери.

Он выходит в кабинет, на свет, на солнце. Чистота и отвратительная красивость кабинета неприятно действуют на него. В кухне лучше. Он открывает буфет, ему хочется есть. Он находит колбасу, варенье и масло. Хлеба нет. Он жадно съедает все, что нашел, стоя тут же, перед буфетом. Вкус? По всей вероятности, вкус у всего этого был, но он не почувствовал его. Теперь, вытирая руки о пиджак, ему кажется, что вкус был отвратительный. Он выпивает стакан воды из-под крана, он возвращается к себе, закрывает дверь в кабинет. Лампа, горящая в табачном дыму, простыня, свисающая с дивана, окурки, разбросанное платье... Он просидит до завтра так, без книги, без газет, без мыслей.

Завтра. Завтра видно будет, как покончить со всем этим и с собой. Только не как она. У него не хватит смелости. Он трус. А раньше он не знал, не догадывался, что он трус. Раньше он о многом не догадывался. Но газ открыть — на это у него должно хватить смелости. Ведь совсем не больно, уснешь. Если бы он не встретил ее тогда у Плейеля, если бы он не увидел, как она плакала, она не играла бы в его фильме. И он мог бы остаться жить. Если бы она не принесла ему несчастья. Опять звонок. На этот раз у входной двери. Пусть звонят, он не откроет. Как настойчиво, как упорно, длительным, пугающим звоном... Так звонит полиция у дверей преступника. Сейчас начнут стучать, выломают дверь. Ему действительно страшно — но что страшного может теперь случиться? Сейчас начнут стучать, выломают дверь. И в эту минуту из прихожей действительно слышится стук. Тьери встает. Нет, он не откроет. Но он идет на носках в прихожую и, будто его могут увидеть через дверь, прижавшись к стене, слушает стук. Кто? Зачем? И вдруг он понимает — пожар. Должно быть, горит дом — иначе кто бы посмел так стучать? И, уже понимая, что как раз этого делать не надо, что это выход, что лучше всего выбросить ключ в окно и все будет кончено, — он дрожащими руками отпирает дверь.

И видит постаревшее, поглупевшее от радости лицо Герэна.

С тех пор, как Павел Дэль выписался из лечебницы и перебрался в маленькую квартирку в Париже, время доя него как будто вернулось туда, где оно было четыре года тому назад, к его холостой, одинокой жизни, когда в ней еще не было ни «Люки — моей — невесты», ни «Люки — моей — жены», ни «Люки — бросившей — меня», а только предчувствие жизни с ней. Предчувствие началось с первой же минуты. Он влюбился в нее «с первого взгляда». До первого взгляда, как ему потом казалось, просто от ощущения совсем особенного воздуха, который всегда и всюду окружал ее, от ее еще не видимого присутствия, теплом и светом наполнявшего весь угол комнаты, где она сидела в кресле с высокой спинкой, лицом к камину так, что он, подходя к ней, не мог увидеть даже ни завитка ее светлых волос, ни кончика ее черного платья. До первого слова. Слов еще не было — был смех. Она, когда он вошел в гостиную своих друзей, смеялась чему-то. Она протянула ему руку, продолжая смеяться, будто ей казалось совершенно естественным знакомиться, здороваться смехом. И этот ее немного воркующий голубиный смех с отчетливо выговариваемым «гу-у» был первое, что он слышал от нее.

Тогда было предчувствие жизни с Люкой, теперь было воспоминание о жизни с ней. Такое же нежное, поэтическое, влюбленное. Такое же совершенно не похожее на действительность.

Люка умерла, он остался жить. Вопрос о том, что он не останется жить, даже не поднимался после его болезни, будто она, эта болезнь, освободила его от излишка горя, с которым он не мог справиться, будто после его выздоровления у него осталось как раз столько горя, сколько он мог вынести. Он, который, пока Люка была жива, так часто прикидывал в уме способ уйти из жизни, которому казалось, что, если Люка не с ним, ему нет места на земле, оттого, что Люка ушла из жизни, легла под землю, вдруг расположился на этой земле как дома, спокойно и уютно со своими воспоминаниями о ней. Эти воспоминания теперь, когда они откристаллизовались, закостенели в окончательной редакции, не боясь корректива будущего (какое же у мертвой будущее?), почти заменяли ему Люку. И даже, хотя в этом он никогда бы не признался себе, на них можно было опереться, положиться, на них можно было построить начало новой жизни.

В них была та добротная фундаментальность, которой, может быть, и не было в живой Люке. От них, от воспоминаний о Люке, уже нельзя было ждать подвоха, они не могли ни обмануть, ни предать его.

Она была совершенна, эта Люка из воспоминаний. Она была прекрасна. Она была чиста. На ее белом платье не было ни одного пятнышка. Даже ее бегство не было пятном. Даже и тогда она была права. Он, Павел, мешал ее работе, ее карьере, ее свободе. Она должна была быть свободной, этого требовал ее талант. Она не разлюбила его, она только на время ушла. Ведь она, закончив работу, позвала его к себе. Она была абсолютно чиста, абсолютно бела. Настолько бела и чиста, что он даже не решался вспомнить, что она была его женой, будто это пачкало, оскорбляло ее. Будто смерть снова вернула ей девственность — она снова была его невеста... Нет, даже в невесте было что-то грязное, какое-то ожидание, согласие, обещание — она была девочкой в белом платье с белым вуалем, такая, как она лежала в гробу. Только живая, бессмертная.

Так воспоминание о Люке превращалось в легенду. Не совсем без оснований, не совсем без пищи. Огромный успех фильма, ее портреты и биографии в газетах и журналах, ее несомненный талант, о котором настойчиво повторяли критики, — все это было пищей, особенной пищей, от которой воспоминания крепли, прибавлялись в весе, росли. Росли, перерастая, подменяя собой горе. Но их нельзя держать про себя, ими надо делиться, они требуют слушателя. И слушатель легко находится. Это Лоранс Герэн. Лоранс, влюбленная в память Люки, Лоранс, всегда готовая говорить, слушать, спрашивать с детской жадностью: «А еще? А потом? А раньше?» Десятки раз одно и то же, с тем же волнением и восторгом. Мнения Лоранс умилительно банальные, вместе с кружевами и гранатовыми серьгами перешедшие к ней от бабушек и старых теток: «Она была слишком хороша, она не могла жить. Мы были недостойны ее».

Лоранс, которая постоянно приезжала к нему в лечебницу, которая ухаживала за ним, чтобы в обмен, в награду, получить обрывок воспоминания.

Она расспрашивает о детстве Люки. Детство Люки. Павел сам почти ничего не знает о детстве Люки, о ее матери и сестре. Люка никогда не рассказывала. Но Лоранс спрашивает, и вот слово за словом, как камень за камнем, строится счастливое русское, с морозами, тройками и снегами, поэтическое детство. Детство, достойное новой Люки из воспоминаний. Такое длинное, обширное, многотомное, трех жизней не хватило бы, чтобы прожить его. Но Лоранс всего мало.

Лоранс краснеет — ей очень хочется узнать о любви Люки, но она не смеет. Она глотает кофе, она вертит ложку, она отворачивается.

Он ведет Лоранс в Люксембургский сад.

Здесь Люка девочкой бегала с подругами, пускала кораблики в бассейне, покупала шоколад в ларьке.

— Она любила шоколад?

— Да. Не молочный, а черный с орехами.

Про шоколад правда. И про игры тоже. Люка действительно говорила, что ходила сюда каждый четверг.

— А она любила природу?

И потому, как Лоранс нюхает воздух, как проводит ладонью по воде, как наклоняется над цветами, он понимает, что ей очень хочется, чтобы Люка любила природу.

Но любила ли Люка природу, он не знает. Люка часто смотрела вверх на небо над крышами. Глядя на розовый закат, она говорила: «Завтра будет ветер“. Как-то осенью они гуляли по Булонскому лесу. Дорожки были засыпаны желтыми сухими листьями. Люка шла, шурша ими, широко разбрасывая их ногами. Она подобрала каштан и долго потом носила его в кармане пальто. Но значило ли это, что она любила природу? И все-таки он отвечает: „Да, очень. Она любила каштаны, осенние листья, закат. Она любила запах земли, травы, дождя. Она говорила: “Как хорошо пахнет гроза”». Разве говорила? Он смутно припоминает что-то. Но, может быть, она сказала просто «пахнет грозой» вместо «гроза будет»?

— Как хорошо пахнет грозой, — повторяет Лоранс нараспев, как строчку стихов. — Скажите, а она скучала когда-нибудь?

— Нет, никогда. При ней даже нельзя было себе представить, что такое скука. Даже когда она сидела одна, ничего не делая, у нее было такое оживленное, внимательное лицо, будто она слушает что-то очень увлекательное. Она ходила по улицам своей быстрой, легкой походкой, как спешат навстречу радости. Продавщицы цветов всегда приставали к ней. Они, должно быть, чувствовали, что ей естественно ходить с цветами, как другим женщинам с кошелкой с рынка. Она превращала каждый день в праздник, самые жалкие платья казались на ней нарядными. Мы жили бедно, я мало зарабатывал, но, пока она была со мной, я не замечал этого, так все преображалось от ее присутствия.

— Каким чудным она, должно быть, видела мир своими чудными глазами. Как бы я хотела хоть один раз видеть, слышать, чувствовать, как она, — Лоранс поворачивает к нему взволнованное лицо. — Но и так, оттого что вы рассказываете мне о ней, я стала все гораздо яснее видеть, чувствовать, понимать. И любить. Любить все, что любила Людмила Дэль.

— Почему вы не называете ее Люкой? — спрашивает Павел.

Лоранс краснеет.

— Разве я смею? Так фамильярно.

Павел настаивает:

— Зовите ее Люкой.

И Лоранс благодарит его, будто он возвел ее в сан рыцаря.

Воспоминания о Люке. Конечно, он сознает, что они разукрашены. И все-таки он старается быть правдивым. Он не меняет ни событий, ни слов Люки, он только старается прояснить их, подчеркнуть в них главное, показать Лоранс живую Люку. Ему не приходит в голову, что он обманывает Лоранс, что он обманывает себя. Он дарит Люке все то, о чем она так мечтала. Мечтала и наконец получила. После смерти.

То время, когда Герэн, по собственному, тысячи раз до него употребленному выражению и потому особенно убедительному, «плясал на лезвии бритвы», когда эта бритва в любую минуту могла разрезать его на две одинаково несчастные, никчемные половины, давно прошло. От этого «бритвенного времени» не осталось ни пореза, ни царапины. Фильм третий месяц идет на Елисейских Полях.

Успех фильма, вернее успех Люки, спас Герэна и Тьери. Теперь Тьери уезжает. Его пригласили в Холливуд после успеха фильма. Это награда за все. Холливуд.

Тьери весел. Он постоянно смеется, не улыбается, а смеется, настойчиво и протяжно, широко показывая все свои сверкающие зубы. Он чувствует себя победителем. Мысль «а мог бы уже лежать в земле» поднимается из черного атласного отворота с треском отрываемого портным от примеряемого фрака как птица вылетает навстречу его автомобилю из-за поворота улицы. «А мог бы умереть давно» — мысль, придающая самым банальным, мелким жестам острую радость и значительность. Вот он завязывает галстук, а могли уже в последний раз чужие пальцы завязать на его мертвой шее этот самый галстук, слишком туго затянув узел, и теперь и он и галстук уже давно лежали бы под землей. И «Нормандия», каюта на которой уже заказана для него, не повезла бы его через океан в Америку, в новый мир, к новой жизни.

Последний день перед отъездом. Магазины, проводы. И самое последнее — хорошенько выспаться перед путешествием в последний раз в парижской квартире. Все удается, на все хватает времени. Покупки закончены, проводы, речи, даже слезы Терезы, которая все-таки умудряется поймать его у входа в ресторан и тут же на улице разыграть мелодраму: «Я ищу тебя повсюду». В ней ничего не осталось от суховатой подтянутости, от «черного лебедя». Даже мех, и тот дрябло, по-старушечьи, свисает с сутулящихся плеч. Ему кажется, что она плачет, хотя ее глаза сухи. Он с любопытством присматривается. Морщинки под глазами идут длинными стрелами ко рту и создают иллюзию плача. Но сейчас же, будто не нуждаясь в иллюзии, желая играть честно, слезы выступают на ресницах и уже текут по щекам.

— Так расстаться? Так?

— Но почему иначе, а не так?

Вопрос на вопрос. Она впервые плачет при нем.

— Я не знал, что ты так некрасиво плачешь.

Острая радость от доставляемой ей боли та же, как от примерки фрака, и та же мысль: «А мог уже умереть, и этого не было бы». И никогда не испытанное прежде желание мести, но за что? И Тереза понимает

— За что ты мстишь мне? Неужели?..

Он перебивает ее.

— В твоем возрасте нельзя себе позволять плакать.

— Ты зверь, Тьери, ты хуже зверя, — те же слова, что в ту ночь в Венеции, но тон совсем не похож, не победительный, побежденный. — Неужели ты так ничего и не скажешь мне на прощание?

Он поднимает шляпу. Он низко кланяется ей.

— До свидания, — говорит он. — До очень нескорого свидания.

Она еще хочет сказать что-то, она комкает в руках платок. Он, улыбаясь, смотрит на нее. Она стоит на тротуаре у входа в ресторан, по улице проезжают автомобили, идут прохожие, швейцар с поклоном открывает дверь ресторана перед посетителями. А она стоит и плачет, будто она одна в собственной спальне. Это совсем как в фильме. И тот же привкус фальши, в котором нельзя разобраться, что, собственно, фальшиво. Удивительно правильно изображают иногда страдание в фильмах. Она что-то говорит, но он не слушает. Он останавливает такси, помогает ей сесть в него.

— Будь счастлива.

Это звучит насмешкой, но он действительно желает ей счастья, тем более что от его пожелания ничего не изменится. Несчастна она и так будет.

Последняя ночь в Париже, последний до-океанский сон.

Тьери просыпается от грохота грузовика, собирающего мусор. Обыкновенно он не слышит, он крепко спит. Но сегодня сон такой неплотный, непрочный, незащищающий, как вдребезги сношенное, дырявое пальто. В дыры врывается грохот, и сон трещит и рвется. Теперь он совсем проснулся. Какой это был томительный сон. Надо было вспомнить, отыскать что-то, неизвестно что. На поиски ушла вся ночь, и все-таки ничего не найдено. И теперь, прислушиваясь к громыханью цинковых ведер, к пулеметному стуку мотора там, на улице, за окном, Тьери напряженно вспоминает, не забыл ли он действительно чего-нибудь важного, необходимого? Нет, все в наилучшем, наичистейшем порядке — визы, покупки, распоряжения, даже прощания.

И все-таки по гулкому беспокойству крови он чувствует, что осталось еще что-то необходимое. Он уедет, и тогда будет поздно. Надо непременно вспомнить, пока не поздно. От волнения трудно лежать, он встает, надевает свой хрустящий халат, причесывается твердой щеткой так настойчиво и долго, будто надеется вычесать из памяти название того, что ему нужно и что никак не удается вспомнить. Он роется в своей памяти, как в цинковом мусорном ведре. Роется по-обезьяньи руками и ногами, пробует на вкус, на нюх всю эту ненужную дрянь, эту картофельную шелуху, эти обглоданные кости, пустые консервные банки, просаленные газеты... Но как найти, когда не знаешь, что ищешь? Он идет в кабинет. На столе лежат журналы и письма. Он вскрывает письма. Та же картофельная шелуха, те же пустые банки — мусор, совсем не то, совсем ненужное. Он берет кинематографический журнал. На обложке во всю страницу портрет Люки в белом платье, в широкополой черной шляпе, улыбающейся, счастливой, живой. Да, именно живой. Ощущение жизни, которое он так отчетливо чувствовал в ее присутствии, не просто жизни, а какой-то удачной, победительной, непобедимой жизни... И она все-таки умерла. Тьерри пожимает плечами. Он хорошо знает эту фотографию, вырезанную из фильма, он смотрит на нее, как когда-то смотрел на портреты царей и полководцев в учебнике истории, с равнодушным любопытством. Он раскрывает журнал. Снова Люка, Люка в пятнадцать лет, в школе, в черном переднике, с идеально детским невинным лицом. Северная девочка со светлыми глазами, светлыми волосами на преувеличенно длинных, преувеличенно стройных ногах. Ноги Люки, они и потом остались почти такими же. Рабочие в студии называли ее «барышня с ногами серны». Обыкновенно говорят «глаза серны». Принято, что серна служит для сравнения глаз, а не ног. Но глаза Люки совершенно непохожи на глаза серны — сонные, нежные, травоядные. Глаза Люки похожи... Не все ли равно теперь, на что они были похожи, раз их больше нет. В голову лезет всякий вздор о сернах, о ногах, а уже без пяти восемь и надо торопиться, надо вспомнить. Он кладет раскрытый журнал на стол, он встает, он шагает по комнате. Надо сосчитать до ста, не напрягаясь, — то, что он ищет и чего не может вспомнить, само выскочит, выпадет из памяти между двумя числами. Он считает громко, шагая в такт. «Сто двадцать пять». И останавливается. Перед глазами скачут цифры, красные, круглые, на желтом фоне, с легким треском сменяя друг друга. Он садится за стол. Может быть, то, что он ищет, скорее найдет контакт с бумагой. Он берет стило[[29]](#footnote-29), он кладет чистый лист бумаги перед собой. Он поднимает стило, готовый проколоть им нужную мысль, как бабочку приколоть ее к бумаге, чтобы внимательно рассмотреть ее, определить ее имя. Он смотрит на матовую белизну бумаги. Рядом лежит раскрытый горбящийся журнал, детское лицо Люки, преображенное волнообразным ниспадением страницы, расплывается в глянцевом отблеске. Оно тут, но Тьери не видит его. Он ждет, он крепко держит стило наготове. Пальцы затекли, он поднимает локоть, двигает рукой, стараясь освободиться от судороги. И вдруг, будто его локоть — рычаг, приводящий в движение механизм, рука его сама пишет большими отчетливыми буквами «...рядом с Людмилой Дэль».

— Люка, — говорит он.

И в ответ вся комната наполняется словами, криком, шепотом, плачем, голосами Люки.

— Это твой ребенок, это твой ребенок, Тьери! Не уезжай. Я не могу жить без тебя. Тьери, Тьери! — с отчаянием, захлебываясь от слез, мешаясь, перебивая друг друга, с последней надеждой, совсем безнадежно, — Тьери, Тьери!..

День рождения Лоранс. Первый день своего рождения, который она действительно празднует. Прежде этот день только тяготил ее, притягивая к ней внимание домашних и знакомых, почти не замечавших Лоранс в обыкновенное время. Но тут все вдруг вспоминали о ней, пристально разглядывали, целовали, дарили несносные подарки. Она должна была благодарить, приседать в реверансе, повторять заученную фразу: «Спасибо, как раз о такой кукле я мечтала». Нет, она никогда не мечтала о куклах, она их терпеть не могла. Ими уже был набит весь шкаф для игрушек, а ей дарили все новых и новых.

Лоранс всегда надеялась, что забудут. Но утром входила англичанка, и, пожелав «many happy returns of the day»[[30]](#footnote-30), объявляла, что сегодня занятий не будет и Лоранс может делать все что хочет. Но Лоранс хотела только, чтобы этот день скорее прошел. Она бродила по дому в нелепом платье из настоящих кружев с пышными голубыми бантами, стыдясь платья, бантов, дня рождения, себя. Бессознательно стыдясь даже того, что вообще родилась. Потом, когда она подросла, ей вместо кукол стали дарить книги и день рождения стал обыкновенным, скучным, будничным днем, только немного более скучным и будничным, чем остальные.

Но Люка любила праздники. Люка праздновала все, что только можно было праздновать. В особенности свои именины и день рождения. Значит, так и надо. Значит, нельзя иначе. И Лоранс просыпается празднично и радостно. Она надевает новое белое гладкое платье, такое, как у Люки в фильме, укладывает волосы локонами так, как Люка. Она идет в столовую. В этом платье, с этой прической гораздо веселее и спокойнее спускаться по лестнице, проходить по залу. Она улыбается себе в каждом встречном зеркале. Это действительно праздник. И отец помнит. А она немного боялась, что именно сегодня, когда ей так хочется поздравлений и подарков, он забудет. Но она уже на пороге встречает его.

— Поздравляю. Давай скорей решим, что тебе подарим.

Она садится напротив него и пьет кофе. Она уже припасла желание, но еще не смеет сказать.

— Что-нибудь очень хорошее, дорогое. Хочешь бриллиантовое кольцо или верховую лошадь?

Она трясет головой.

— Нет, нет, — и улыбается, чтобы скрыть смущение.

Герэн смотрит на нее. Не тем привычным безразлично-отцовским взглядом, который скользил по ней, почти не видя ее, а зорко, оценивая и взвешивая, как на чужую.

— Ты очень выросла. И очень переменилась. Совсем взрослая, — слова еще привычно отцовские, те, которые он уже часто говорил ей. Новое мнение о дочери еще не нашло себе выражения. Герэн быстро касается не то бумажника, не то сердца. Лоранс краснеет под его тяжелым взглядом и опускает глаза. — Ты кого-то напоминаешь мне, не могу только вспомнить кого. Ну а насчет подарка?

И Лоранс решается.

— Я хочу тебя просить, — она поднимает голову, — очень просить. Поставь памятник на могилу Людмилы Дэль.

Самое трудное сказано, и теперь она, спеша, доказывает, что это необходимо, справедливо, ведь отец сам говорил, что многим обязан Людмиле Дэль, что она спасла его.

— Пожалуйста, пожалуйста. Настоящий памятник. Статую. Как на площади. Закажи знаменитому скульптору.

Герэн удивлен.

— В виде ангела. Как в фильме.

— Но зачем ангел? Лучше просто ее статуя.

— Нет, непременно ангелом. Она была больше ангелом, чем женщиной. Я уже давно решила.

— Ты очень странная, — говорит Герэн. — Я тебя совсем не знаю. Ты забавнее, чем я думал. Могильный памятник ко дню рождения, — он снова смотрит на нее. — И знаешь, на кого ты похожа? Я догадался теперь. На эту самую Людмилу Дэль. Да, да, в ней было то же, что и в тебе. Что-то птичье, будто она только присела на стул, вспугнуть ее — и она улетит. И тот же какой-то внутренний переполох от слишком большой молодости. Она была такой в самом начале, когда я познакомился с ней. Потом это скоро прошло...

Он задумывается. Лоранс молчит, она не благодарит. Но это подарок, это второй подарок. Не менее чудесный, чем первый, — сходство с Люкой.

Герэн проводит рукой по гладкому черепу.

— Ну хорошо. Пусть памятник. Завтра же закажем. Но не кажется ли тебе, что надо спросить Дэля, захочет ли он ангела на могиле жены?

Лоранс кивает.

— Я спрошу его. Он придет сегодня. Ах, только бы он согласился.

Только бы согласился Павел Дэль. Лоранс ждет его, она волнуется. В этот сентябрьский день так жарко, так трудно волноваться.

Лакей ставит на стол крендель и семнадцать свечек, по числу лет Лоранс. Сейчас придет Павел Дэль, и они будут вместе пить шоколад с сбитыми сливками. И шоколад, и крендель, и свечи, и гирлянда вокруг стула — все как бывало у Люки.

Отец занят, он придет только к обеду. Будут гости. В спальне на постели уже лежит длинное тюлевое платье, купленное в любимом модном доме Люки, и парчовые туфельки на головокружительных каблуках, заказанные у сапожника Люки. Она встречается с Павлом Дэлем каждый день в кафе или в Люксембургском саду, но он редко бывает у нее. Дома, среди великолепия и пышности, Лоранс робеет и смущается, будто боится всех этих бронзовых грифонов, этих когтей и крыльев, и своего отражения в бесконечных зеркалах, и слишком ярких люстр, и скользких паркетов. Дома ей как-то еще труднее справиться со своими руками и ногами, даже со своим голосом, слишком тихим для этих больших гулких комнат.

Она ждет его в своей белой светлой комнате с лампой, глобусом, с книжными шкафами и старыми географическими картами по стенам. Она когда-то мечтала быть путешественником, исследователем полярных стран. С географическими картами и портретами Люки из журналов и увеличенными неумелыми любительскими снимками, которые принес ей Павел Дэль. Вот здесь Люка ест яблоко. Солнце освещает только ее открытый рот и белые зубы. Здесь Люка на теннисе. Здесь она читает книгу, как девочка, прилежно готовящая урок.

Лоранс стоит перед окном. Вот по этой улице, под этими каштанами пройдет Павел Дэль. Уже четыре часа. Неужели он опоздает, он, такой аккуратный? Как трудно ждать. Но он не опаздывает. Он уже идет. Она видит его издали. Она давно не смотрела на него издали, всегда вблизи, рядом, за столиком кафе. Она очень привыкла к нему, она не задумывалась о выражении его лица. Она помнила его лицо измученным и бледным, таким, как оно было, когда она ездила к нему в лечебницу. Таким оно осталось у нее в памяти. Ей казалось, что оно навсегда останется таким. Но вот она видит его, большого, широкоплечего, уверенно шагающего. Его загорелое лицо совершенно спокойно. Он держит в руках пакет, обернутый в голубую бумагу, и это веселое голубое пятно на его черном траурном пиджаке кажется Лоране оскорбительным. И когда он успел стать таким спокойным? Она встречалась с ним каждый день, а вот не заметила. Спокойным, почти веселым, как будто Люка не лежит в могиле. Голубой пакет — подарок ей, Лоранс. Но она не думает о нем, она думает о Павле Дэле. Как случилось, что он выкарабкался из такого горя? Значит, и после такого горя можно улыбаться, и это только выдумка, что умирают от любви? Но ей некогда думать, он уже здесь, перед ней, этот переживший такую любовь и такое горе Павел Дэль. Он, улыбаясь, поздравляет ее, желает ей счастья. И она благодарит его за поздравление.

— Я хотела с вами поговорить, спросить у вас...

— Я принес вам подарок.

Она не протягивает руки за пакетом, не спрашивает, что это. Она садится на стул посреди комнаты, робея, как всегда, дома, даже больше, чем всегда, ее ресницы начинают быстро моргать, будто она готова заплакать или обидеться. Она предлагает ему папиросы, встает, пересаживается на другой стул.

— Я хотела вас просить согласиться... — и переводит дыхание.

Он снова улыбается.

— Я, конечно, согласен.

— Ах нет, не так.

Она мучительно чувствует свои уши. Ей кажется, что каждое ее слово камнем падает в море, птицей улетает в небо, строит глухую стену между Павлом и ею, отделяет их на тысячу километров друг от друга и с яростной быстротой снова сталкивает их лбами, так что искры летят из глаз. Но внешне все просто и обыкновенно. Она рассказывает ему о своем желании поставить памятник: «Ангел, как в фильме». И, погибая, воскресая, исходя стыдом и робостью, она объясняет, что отец ей уже подарил деньги, и если только Павел согласится... И он соглашается. Он даже благодарит ее. За что? «Ведь Люка была скорее ангелом, — старается она дообъяснить. — Как жаль, что ей нельзя поставить памятник где-нибудь на площади Парижа. Она была достойна настоящего памятника. Такая необыкновенная. Такая, что почти нельзя поверить. Если бы не вы рассказывали мне про нее, вы, который так хорошо ее знали...»

Он качает головой.

— Нет. Я ее не знал. Я ее любил. Это не совсем одно и то же, — он закуривает папиросу.

— И все-таки мне кажется, что она была действительно такая, как я говорю, — Лоранс убежденно кивает. — Конечно, такая, совсем такая. Я знаю. Но трудно поверить. Слишком много света, прелести, доброты. Слишком необычайная судьба. Чтобы все сразу — и любовь, и удача, и слава. И чтобы каждый день, каждый час были только весельем, счастьем, исполнением желаний. Знаете, — брови Лоранс высоко поднимаются, — то, что она жила, то, что она была именно такая, мирит меня с уродством, с нищетой, со злом. Да, да, со всеми бродягами, мерзнущими под мостами, с горбатыми стариками, со слепыми, с умирающими от голода детьми и с котятами, которых топят в ведре, со всей несправедливостью, всем ужасом и грубостью жизни. Люка — как доказательство, что бывает счастье, полное, ничем не ущемленное совершенство и щедрость судьбы. Люка была как утешение, — Лоранс встает. — Ах, я не умею объяснить. И вам должно быть смешно. — Она прижимает руки к груди, она приподнимается на носках от желания быть понятой им. — Вы не знаете еще. Но оттого, что Люка существовала, мне самой стало легче жить. А прежде все мучило, оскорбляло меня. Мне было очень плохо. И я так благодарна ей. Ах, вы не понимаете. Я не умею объяснить.

Она смущается. Она отворачивается от него. Нет, он прекрасно понимает. Он даже сам смутно чувствовал это. И как правильно она сказала — утешение. Да, Люка действительно была утешением.

— Я принес вам подарок, — говорит он снова, и на этот раз она берет пакет и благодарит, еще не зная, за что.

Бумага с хрустом разворачивается и падает на пол, Лоранс держит в руках бурого, потертого, плюшевого медведя.

— Тролль? — спрашивает она тихо, почти испуганно, и руки ее начинают дрожать.

— Я решил подарить его вам.

Лоранс смотрит на медведя и жмурится, будто на него, как на солнце, трудно смотреть.

Тролль!

Это крик радости, но радость слишком остра, и крик похож на крик боли. Она прижимает медведя к груди, она целует его потертую морду так жадно, как могла бы целовать ее Люка.

Она поворачивает к Павлу Дэлю опустошенное радостью лицо:

— Вы действительно дарите мне его? Совсем?

Он кивает.

— Да, совсем дарю.

Но как? Подарить Тролля ей? Тролля, о котором Люка думала в последний день?

— И вам не жаль? — спрашивает она тихо, так тихо, что он не слышит.

Она не понимает, ей надо подумать, привыкнуть к радости. Она осторожно сажает Тролля на стол и отходит к окну, к деревьям, к тишине неба. Она в смятении смотрит на осенние листья, кружащиеся в вечернем воздухе, как золотые рыбки в воде. Она чувствует, как что-то тяжелое оборвалось, передвинулось в ней и там, глубоко внутри, где было так темно и душно, теперь сквозняк и солнце. Еще ничего нельзя понять, нельзя разобраться, нельзя рассмотреть — слишком светло, слишком ветрено.

Она впервые чувствует, как прекрасен этот вечер, этот Париж и этот мир. И что этот вечер, этот Париж и этот мир не были бы так прекрасны, если бы она, Лоранс, не стояла бы здесь у окна, не смотрела бы на них. Она впервые смутно сознает свое участие в мире, свое место в нем, свою единственность, свою неповторимость. Она совсем по-новому чувствует ветер, деревья и камни мостовой, будто проникая в их суть, в их душу. Деревья, ветер и свою комнату, казавшуюся ей прежде клеткой, книги в шкафах, каждую отдельно, письменный стол, ковер.

Вот она обернется и впервые по-настоящему увидит их, увидит, поймет, полюбит. Они там, за ее спиной, она чувствует их присутствие. И присутствие спокойного сероглазого человека, так безрассудно подарившего ей Тролля.

Она боится, чтобы ветер не закружил ее в воздухе, не оторвал ее от земли. И чтобы удержаться на земле, чтобы немного успокоить волнение в противовес ошеломляющему ощущению жизни, она вспоминает о смерти, о чужой безразличной смерти.

— Сегодня ровно месяц, как застрелился Тьери Ривуар, — говорит она, прежде чем обернуться.

1. Первое издание: Брюссель: Petropolis, 1939. В тексте указана дата окончания романа — 23 июля 1938 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. …фейерверк над ночными скачками в Лонгшане… — Лонгшан (фр. Longchamps) — известный ипподром в пригороде Парижа, на окраине Булонского леса, построенный в 1857 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. Дактило (фр. dactylo) — секретарша. [↑](#footnote-ref-3)
4. Когда вы будете крутить… — Слово «крутить» широко употреблялось эмигрантами в значении «снимать фильм», это семантическая калька с французского, в котором слово «tourner», означающее «крутить(ся)», с появлением кинематографа приобрело дополнительное значение — «снимать». [↑](#footnote-ref-4)
5. Бриан Аристид (1862—1917) — французский юрист, журналист, министр иностранных дел в 1925—1932 гг. [↑](#footnote-ref-5)
6. Бриа Саварен — французский сыр, созданный около 1890 г. семейством Дюбюк и названный в 1930 г. в честь известного судьи и гастронома Жана Антельма Бриа Саварена (1755—1826). [↑](#footnote-ref-6)
7. …английскую сказку про улыбающегося кота. — Имеется в виду Чеширский кот из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. [↑](#footnote-ref-7)
8. Шамони — популярный горнолыжный курорт в восточной Франции недалеко от французской границы. [↑](#footnote-ref-8)
9. Фацет (фр. facette) — грань. [↑](#footnote-ref-9)
10. Трен (фр. traine) — шлейф. [↑](#footnote-ref-10)
11. Marche aux puces — блошиный рынок (фр.). [↑](#footnote-ref-11)
12. …если надо объяснять, то не надо объяснять — излюбленный афоризм Зинаиды Гиппиус. На самом деле автор его Григорий Адольфович Ландау (1877— 15 ноября 1941) — российский журналист, писатель и политический деятель, и первоначально сформулирован он так: «Если близкому человеку надо объяснять, то — не надо объяснять». [↑](#footnote-ref-12)
13. Люка стоит на плато… — Здесь: плато — съемочная площадка. [↑](#footnote-ref-13)
14. Viva Italia — Да здравствует Италия (фр.). [↑](#footnote-ref-14)
15. Exellent voyage. Salutations — Прекрасное путешествие. С приветом (фр.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Greve sur le tas — забастовка на рабочем месте (фр.). [↑](#footnote-ref-16)
17. …в Венецию, к крылатому льву. — Крылатый лев — символ Венеции. Крылатый лев считается символом евангелиста Марка. В средние века, когда в Венецианскую республику были перевезены из Египта останки евангелиста, св. Марк стал покровителем Венецианской республики, а его символ — крылатый лев — ее эмблемой. Самая известная статуя крылатого льва установлена на вершине колонны у лагуны, рядом с Дворцом дожей и неподалеку от базилики св. Марка. [↑](#footnote-ref-17)
18. Фрутти‑ди‑маре (ит. frutti di mare) — морепродукты. [↑](#footnote-ref-18)
19. Бергнер Элизабет (1897—1986) — известная театральная и киноактриса, снявшаяся во многих австрийских и немецких фильмах до эмиграции в Англию в 1933 г. Продолжила карьеру в английском кинематографе и в Голливуде. [↑](#footnote-ref-19)
20. Гарбо Грета (1905—1990) — популярнейшая киноактриса шведского происхождения; ее головокружительная карьера началась после переезда в США в середине 1920‑х гг. [↑](#footnote-ref-20)
21. Дузэ Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса театра и кино. [↑](#footnote-ref-21)
22. …в черной, как гроб, гондоле… — Ср.: «гондол безмолвные гроба» (строка из стихотворения А. Блока «Холодный ветер из лагуны», 1909). [↑](#footnote-ref-22)
23. Они обедают у «Максима». — «Максим» — известный ресторан в центре Парижа, был открыт в 1893 г. Максимом Гайяром. [↑](#footnote-ref-23)
24. «Табарен» (фр. Tabarin) — ресторан в 11‑м парижском округе, названный в честь Антуана Жерара Табарена (1586—1633), уличного актера и автора фарсов. [↑](#footnote-ref-24)
25. Porte‑bonheur— амулет, талисман (фр.). [↑](#footnote-ref-25)
26. …бенедиктинские монахи приготовляют бенедиктин. — Бенедиктин (фр. ben6dictine) — алкогольный напиток, изобретенный в 1860‑х гг. Александром Леграном на базе 27 специй и трав. Бенедиктин производят в Фекане (Нормандия). [↑](#footnote-ref-26)
27. Мюэтт — одни из бывших ворот на границе Парижа. [↑](#footnote-ref-27)
28. «Плейель» — парижский концертный зал, открытый в 1927 г. [↑](#footnote-ref-28)
29. Стило (фр. stylo) — перо, ручка. [↑](#footnote-ref-29)
30. «Many happy returns of the day» — «С днем рождения!» (англ.). [↑](#footnote-ref-30)